



Марк Александрович Алданов

Самоубийство

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=137341
Алданов М. А. Самоубийство: Эксмо; Москва; 2011
ISBN 978-5-699-48614-4*

Аннотация

Последний роман М. Алданова «Самоубийство» охватывает значительный период от II съезда РСДРП до смерти Ленина: три революции, Гражданская война в России и Первая мировая война. Роман, по слову Г. Адамовича, убедителен и полон живого дыхания. Алданов передает облик самого времени и создает художественный образ Ленина, появляются и зловещие фигуры Сталина и Муссолини. Нетерпимость – объединяющее свойство, присущее всем революционерам, по мнению автора, – сила разрушительная, и именно она губит не только людей, но и саму страну, в которой происходят революционные преобразования. Писатель не скрывает своей мысли о преступности жертвовать миллионами жизней ради социального опыта. Роман был впервые издан в Нью-Йорке в 1958 году.

Содержание

Часть первая	4
I	4
II	13
III	19
IV	27
VI	36
VII	42
Часть вторая	49
I	49
II	56
III	62
IV	70
V	73
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Марк Алданов

Самоубийство

Часть первая

I

Чете Рихтеров был указан в Брюсселе сборный пункт: квартира Кольцова. Этот же адрес был дан и другим участникам съезда. Но консьержка, находившаяся со вчерашнего вечера в состоянии полного бешенства, объявила, что больше ни одного «саль рюсс»¹ в дом не пустит: пустила четырех, входят как к себе, шумят, кричат, довольно!

Хозяин квартиры был очень смущен и даже взволнован: боялся, что гость рассердится. Кольцов кричал, что этого так не оставит, что будет жаловаться властям (не сказал: полиции), что обратится к бельгийской социалистической партии. Однако Рихтер не рассердился и высказался против жалоб: он всю жизнь боялся консьержек; говорил, что быть с ними в добрых отношениях обязательно для каждого революционера.

— ...Да ничегошеньки ваша бельгийская партия сделать не может, если б даже и согласилась. Нельзя ли нам приютиться в помещении съезда?

Кольцов развел руками еще более смущенно.

— Никак нельзя, Владимир Ильич. Это помещение просто амбар для муки! Им было очень, очень совестно, они страшно извинялись, но ничего другого не оказалось!

— Не оказалось? — с усмешкой спросил Рихтер. Это был невысокий, коренастый лысеющий человек с высоким лбом, с рыжеватыми усами и бородкой, в дешевом, чистом, без единого пятнышка синем костюме с темным галстуком, концы которого уходили под углы двойного воротничка. Глаза у него были чуть косые и странные. Он был всю жизнь окружен ненаблюдательными, ничего не замечавшими людьми, и ни одного хорошего описания его наружности они не оставили; впрочем, чуть ли не самое плохое из всех оставил его друг Максим Горький. И только другой, очень талантливый писатель, всего один раз в жизни его видевший, но обладавший необыкновенно зорким взглядом и безошибочной зрительной памятью, весело рассказывал о нем: «Странно, наружность самая обыкновенная и прозаическая, а вот глаза поразительные, я просто засмотрелся: узкие, красно-золотые, зрачки точно проколотые иголкой, синие искорки. Такие глаза я видел в зоологическом саду у лемура, сходство необычайное. Говорил же он, по-моему, ерунду: спросил меня — это меня-то! — какой я «фХакции». Ленин сильно картавил, но не на придворный, не на французский, не на еврейский лад; почему-то его картавость удивляла всех, впервые с ним встречавшихся. — Что ж делать? Не оказалось. Утешимся же тем, что им очень, очень совестно. Ищите для нас, товарищ Кольцов, помещеньице в каком-либо отельчике подешевле, но в чистеньком. А консьержку оставьте в покое, не то она и вас выживет.

То, что гость не рассердился, успокоило Кольцова: он боялся Ленина еще больше, чем Ленин боялся консьержек. Кого-то отрядили караулить других участников съезда. Объявил, что все-таки позвонит по телефону, — назвал имя видного бельгийского социалиста:

— Он во всяком случае пригодится, очень любезный человек, — сказал Кольцов.

— Валяйте, звоните. Пусть устроил бы скидку. Но с первых слов успокойте его, а то сей субъект подумает, что мы у него просим денег.

¹ «Грязный русский» (франц. *sale russe*).

Вид Надежды Константиновны показывал, что она недовольна: не для нее, конечно (о себе она редко думала), но для вождя партии могли обо всем позаботиться заранее и не заставлять его ждать с вещами на улице. Она вдобавок видела, что Володя устал и нездоров; еще не так давно в Лондоне его мучила «зона». «Неужто начнется опять!» – думала она с ужасом. Была и сама утомлена, однако это не имело никакого значения. Желчные шутники в партии, подражавшие Плеханову, говорили, что Ленин женился на ней из принципа «чем хуже, тем лучше», и называли ее «миногой». Впрочем, ее скорее любили: при несколько суровом и гордом виде, она была не зла, не тщеславна, ни к каким званиям и должностям не стремилась, хотя по своим заслугам на некоторые, не очень важные, звания имела бы права. «Коротки ноги у миноги, чтобы на небо лезть». – Надежда Константиновна никуда не лезла и никому не завидовала. Она была женой Ленина, и этого было достаточно. Во всем мире, кроме ближайших родных, одна она его называла Володей. Даже люди, бывшие с ним на «ты» (их всего было два или три человека), называли его «Владимир».

– Этот съезд очень важен... Он собственно представляет собой Учредительное собрание партии, Первый съезд не идет в счет, – сказала она второстепенному (только с «совещательным») делегату, занимавшему ее разговором.

Кольцов побежал в соседнюю лавку: «Не звонить же от этой злой бабы!»

– Подумайте, сам товарищ Ленин остался без пристанища! – сказал он по телефону. Бельгийский социалист не знал, кто такой Ленин, но отнесся вполне сочувственно. В первую минуту в самом деле опасался, что русские эмигранты, почти все бедняки, чего доброго попросят у него денег!

– Вот что, я сейчас же позвоню в «Кок д'Ор», – сказал он. – Хозяин этой гостиницы член партии и мой приятель, он верно сделает и скидку для русских товарищей. Вы можете туда прямо проехать с товарищем Лениным, которому, пожалуйста, передайте привет.

Кольцов вернулся и сообщил всем новый адрес. Ленин, как ему показалось, предпочел бы, чтобы другие участники съезда остановились не в той же гостинице, что он.

– Я вас провожу, Владимир Ильич.

Нанял извозчика. Ленин сказал было, что можно было бы поехать на трамвае. Кольцов объявил, что в трамвай такого чемодана не возьмут. Чемодан, выдавший виды на долгом веку, был в самом деле объемистый. Ленин сам его дотащил до дрожек, хотя старался отобрать у него Кольцов.

– Почему же будете нести вы? Я покрепче вас, – сказал Ленин нетерпеливо, и, несмотря на все протесты Кольцова, сел на неудобную переднюю скамейку, предоставив ему место рядом с женой. Она была этим не очень довольна: «Володя уступает место Кольцову!» Кольцов же не мог не оценить: «Вот чего не сделал бы Плеханов!»

По дороге разговор не клеился. Надежда Константиновна еще гневалась, хотя и меньше.

– Судьбы нашей партии зависят от того, кто будет ее главным руководителем. И потому очень важен каждый голос на съезде, – сказала она.

Муж оглянулся на нее с неудовольствием. Предполагалось, что вопрос о руководителе не имеет никакого значения. Она тотчас это поняла и немного смутилась.

– Я еще точно не знаю соотношения сил, – уклончиво ответил Кольцов. «Будет, конечно, голосовать с Мартовым!» – сердито подумал Ленин.

– Соотношение сил уже известно, – сказал он как бы равнодушно. – «Совещательные» не в счет, будет тридцать три делегата с одним голосом и девять двуруких. Из всей компании пять бундовцев, три рабочедельца, четыре южнорабоченца, шесть болота, остальные искряки.

– Искряки-то искряки, но вполне ли надежно их искрянство? – вставила Надежда Константиновна. – Ведь Мартов тоже искряк.

Ленин опять оглянулся на нее с досадой и что-то пробормотал.

– А какую позицию вы окончательно решили занять в отношении бундовцев? – поспешил перевести разговор Кольцов.

– Прямо в зубы их бить не буду, но отношение будет архихолоднейшее. Пусть Бунд, наконец, выявит свою личину! Во всяком случае в Феклу ни одного из этой компаниицы не возьмем, пусть идут к черту! Ту се ке вуле, мэ па де са², – сказал Ленин. Он часто вставлял в разговор и в письма слова на неправильном французском, немецком или на латинском языке. «Феклой» называлась редакция «Искры».

– Они и не претендуют на это, – сказал Кольцов обиженно. Он смутно – и совершенно неосновательно – подозревал Ленина, как и Плеханова, в некотором скрытом антисемитизме. – Просто они маленькие люди с ограниченным кругозором. Я говорю только о тех, которые будут на съезде.

– Что маленькие, это не беда. («Ты сам гигант», – насмешливо подумал Ленин.) – Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан. Но они хотят федерацийки, чтобы быть единственными представителями еврейского пролетариата. Фигу им под нос вместо федерации!

– А если они уйдут со съезда?

– Скатертью дорога, – сказал Ленин и подумал, что если бундовцы уйдут, то у Мартова будет пятью голосами меньше при выборе редакции «Искры». «Непременно раньше поставить вопрос о Бунде», – решил он.

Извозчик подъехал к гостинице. Кольцов хотел заплатить.

– У вас, Владимир Ильич, верно еще и нет бельгийских денег?

– Есть деньги, разменяли на вокзале, – сказал Ленин. Он жил скудно, берег каждую копейку, но не любил, чтобы за него платили другие, особенно бедные люди, как Кольцов.

Комнатка в гостинице оказалась недорогая (хозяин в самом деле сделал скидку) и довольно уютная. В ней были и письменный стол, и даже полка для книг, – очень полезные вещи: съезд должен был длиться не меньше месяца. На полке лежали разрозненные номера иллюстрированных журналов.

– Я разберу вещи. Да и работа есть, – сказала Надежда Константиновна, взглянув на Кольцова. Она знала, что мужу отравляют жизнь разговоры: он и в Мюнхене, и в Лондоне, и в Женеве просил товарищей приходить к нему пореже, если не было дела.

– А мне надо бежать, – поспешно сказал Кольцов, тоже не очень хотевший с ними разговаривать; разговор мог стать неприятным.

– Бегите, – с готовностью согласился Ленин. – Здесь как? Надо хозяину показать паспорта?

– Не надо, никакой прописки не требуется, – объявил Кольцов. Он хотел было добавить, что Бельгия почти такая же свободная страна, как Швейцария, но не добавил: это замечание не понравилось бы вождю партии. Многие находили, что Рихтер – он же Н. Ленин, Тулин, Петров, Ильин, Старик, Ульянов – уже важнейший из вождей. Еще недавно он был главой того, что называлось шутливо «Тройственным союзом»: Ленин – Мартов – Потресов. Такой же Тройственный союз был и в старшем поколении: Плеханов – Аксельрод – Засулич. Но, как ни у кого в Европе не было сомнений в том, что в настоящем Тройственном союзе всем руководит Германия, так и у социал-демократов признавалось, что главные среди шести – это Ленин и Плеханов. Остальные четверо, при всех их качествах, были как бы тайными советниками революции при двух действительных тайных. Впрочем, теперь положение изменилось: разделение шло по другой линии, борьба намечалась преимущественно между Лениным и Мартовым.

² Все, что хотите, только не это (*франц.* Tout ce que vous voulez, mais pas de ça).

– Я значусь Рихтером, и письма к вам будут приходить на имя Рихтера. Все передавайте ей или мне, только, пожалуйста, без всякого замедления, – сказал Ленин. Несмотря на отсутствие в нем чванства, в его голосе послышался приказ. – А что, этот амбар отсюда далеко?

– Нет, недалеко, Владимир Ильич. Хотите взглянуть? Они мне дали ключ.

– Какие любезные! Если недалеко, пойдем. Ты ведь, Надя, тем временем разберешь вещи?

– У меня работы на час, если не больше. Можешь, Володя, не торопиться. И купи чего-нибудь к чаю, хлеба, ветчины. Сыр и сахар я привезла.

В амбаре было темновато и сыро. Когда они вошли, во все стороны рассыпались крысы. У стен лежали груды кулей с мукой. Впереди, против входа, стояли стол и за ним два стула, а перед ними несколько рядов некрашенных скамеек. Ленин вдруг расхохотался веселым заразительным смехом. Кольцов смотрел на него со сконфуженной улыбкой.

– Да, неказистый зал. Мы завтра все проветрим и постараемся достать хоть стулья. Что ж делать, ничего другого не оказалось.

– Для себя они, небось, нашли бы помещенье лучше, а? – говорил Ленин, продолжая хохотать. – А уж если б, скажем, международный конгресс, то сняли бы какой-нибудь отельчик вроде «Бристоля» или «Империяла» или там «Континенталья». Это для дрекгеноссов-то, а? – Так он часто называл тех иностранных, особенно германских, социал-демократов, которых не любил. – За амбар геheimerаты³ с Каутским им набили бы морду, а, Кольцов? И то сказать, оговорочка: геheimerаты всех стран платят чистыми деньгами. Только с нами, с «саль рюсс», можно не считаться. – Он, наконец, перестал смеяться и вытер лоб чистым белым платком. – Ничего, товарищ Кольцов, со временем будут считаться и с нами, уж это я вам обещаю!.. А чей же это милый амбарчик? Мука с крысами, а? Мы крыс вывели бы, да заодно и таких хозяйчиков. Но вы не конфузьтесь, вы не виноваты, что нет денег. А вот товарища Плеханова предупредите, насчет крыс-то. А то он очень разгневается... Дайте, посидим, передохнем, – сказал он. Достал из кармана прочтенную в поезде аккуратно сложенную газету, накрыл ею скамейку и сел.

– Почему же именно Георгий Валентинович рассердится? Вы ведь не рассердились, Владимир Ильич, – сказал Кольцов, тоже садясь.

– Как же вы сравниваете, а? Во-первых, он председатель. Будет говорить торжественное слово, верно что-нибудь воскликнет, а тут вдруг пробежит крыса и испортит «восклицание», разве хорошо, а? Притом он смертельно боится крыс. Вообще слишком много боится. А в-третьих, он генерал, из помещичьих сынков. Не весьма, впрочем, из важных. Вот Потресов тот действительно генеральский сын и давно забыл об этом, а у Георгия Валентиновича родной брат где-то исправником, не велика фря!.. Увидите, он явится на открытие съезда в визитке, или как у них там эта длиннополая штучка называется, – сказал Ленин и на всякий случай повторил ходивший в партии рассказ о том, как в свое время Плеханов, отправляясь в Лондоне на свидание с Энгельсом, купил и надел цилиндр.

Говорил он якобы благодушно. Когда-то был почти влюблен в ум, таланты и ученость Плеханова, затем разочаровался и разошелся с ним. Писали они друг другу то «дорогой», то «многоуважаемый», то без всякого обращения, очень сухо и враждебно. Недавно порвали было личные отношения, потом их возобновили. Теперь же должны были действовать заодно, в полном союзе. Все же при случае не мешало вернуть словечко и о Плеханове. Перед этим съездом лучше было бы вернуть что-либо о Мартове, но он не нашел ничего подходящего, хотя бы вроде визитки или цилиндра.

Кольцов слушал без улыбки. Он был очень корректен, не любил сплетен, да и не раз уже слышал рассказ о цилиндре Плеханова. В партии его уважали как полезного человека и

³ Тайные советники (нем. Geheimrat).

старого революционера, – он был когда-то народовольцем, близко знал брата Ленина, затем в эмиграции стал социал-демократом, но выполнял преимущественно черную работу. Партию любил всей душой, почти как семью: в них, в семье и партии, был смысл его жизни. Вожди он не метил и нигде не назывался даже «видным» (а это было гораздо меньше, чем «известный»). Нежно любил Аксельрода, Веру Засулич, Мартова, Потресова и тщательно скрывал, даже от самого себя, нелюбовь к Плеханову и особенно к Ленину, которого он с ужасом считал человеком аморальным и способным решительно на все. Кольцов знал, что Ленин хочет стать партийным диктатором. Это было недопустимо, и он своего мнения не скрывал; но политических споров с Лениным в меру возможного избегал и при них съезжился: так на него действовали безграничная самоуверенность этого человека, его грубые отзывы о товарищах, его презрительный смешок и больше всего шедший от его глазок волевой поток. «Ох, дубина!» – подумал Ленин, внимательно на него глядя.

Он вдруг стал необычайно любезен. Одна из его особенностей заключалась в сочетании презрительного равнодушия к людям с умением их очаровывать в тех случаях, когда они были нужны ему или партии. Очень многие товарищи его обожали, искренно считали добрым, милым, благожелательным человеком. Он был «Ильич»; Плеханов никогда не был «Валентинычем».

Изменив тон, он стал называть Кольцова по имени-отчеству, спросил о семье, о делах, о планах. Затем перешел к съезду. Как ни незначителен был Кольцов, не мешало повлиять и на него. Иногда Ленин часами вдалбливал свои мысли в голову двадцатилетним малограмотным людям, особенно если они были рабочие, и делал это с большим успехом.

– ...Да, будет у нас здесь драчка, Борис Абрамович, – сказал он якобы с грустью. – Вначале дела пойдут менее важные: Бунд, равноправие языков, потом программа. Тут споры, конечно, будут, но сговоримся. Главное же, как вы понимаете, это устав и выборы, в частности выборы редакции «Искры».

– Я стою за прежнюю редакцию в ее полном составе из шести человек, – поспешно сказал Кольцов. Лицо у Ленина дернулось, но он тотчас сдержался и даже взял Кольцова за пуговицу. («Тоже никогда не сделал бы Плеханов».)

– Послушайте, Борис Абрамович, ведь вы разумный человек, – сказал он. Хотел было сказать: «вы умный человек», но язык не выговорил. – Разве можно работать при такой редакции? Ведь это не редакция, а какая-то семеечка! Вдобавок, почтеннейший Аксельрод за три года ни на одном ровнехонько заседании не был. Сей муж занят своим кефиром или кумысом или черт его знает, чем он занят. Из него, а паки из Засулич давно песок сыплется...

– Помилуйте, Владимир Ильич! Вере Ивановне всего пятьдесят два года!

– Неужели? Я думал, им по сто пятьдесят два. В «Искре» все делали Мартов и я, всю работу, и идейную, черную. Вы знаете, что мы теперь с Мартовым на ножах, но я предлагаю ему конкубинат⁴: он, Плеханов и я. Прелесть что за журнальчик создадим!

Кольцов печально покачал головой.

– Товарищ Мартов в трехчленную редакцию не войдет. Он считает, что это было бы неэтично в отношении трех остальных редакторов. И я с ним согласен... Вы большой человек, Владимир Ильич, но разрешите сказать вам, вы человек нетерпимый, – сказал он мягко. Лицо Ленина исказилось бешенством. У него покраснели скулы.

– Ну, еще бы! Это все у вас говорят: «Ленин-де нетерпимый». Ерунду говорите, товарищ Кольцов! И партия не дом терпимости!

– У нас может образоваться нечто вроде бюрократического централизма, а это очень нежелательно. Не скрою от вас, в партии уже говорят о вашем «кулаке», я, конечно, этого не думаю, но я...

⁴ Сожительство (лат. concubinitus).

«Но я болван», – мысленно закончил за него Ленин. Он действительно находил необходимым «кулак» и именно свой. Понимал, что Мартов в самом деле откажется, а Плеханов в работу вмешиваться не будет: будет только давать теоретические советы.

– Ваши «этические» соображения мне совершенно не нужны и не интересны! Вы можете оставить их при себе! – сказал он с яростью. Встал и быстро направился к выходу. Кольцов грустно поплелся за ним.

Надежда Константиновна сидела за единственным столиком комнаты на ее единственном стуле и что-то писала, морща лоб. Перед ней лежали листки бумаги. Она зашифровывала письмо. Всегда делала это добросовестно, усердно и даже, несмотря на привычку, восторженно-благоговейно. Теперь у нее были угрызения совести: в Женеве не успела зашифровать и отправить письмо, написанное Лениным позавчера одному кружку на Волге. Не было ни одной свободной минуты: надо было и накормить мужа, и купить билеты, и уложить вещи, книги, бумаги, и к кому-то с его поручениями забежать (она не просто ходила к людям, а всегда забегала). В поезде зашифровывать было очень неудобно, да и опасно: могли обратить внимание. Теперь оглянулась на мужа с виноватым видом.

– Я думала, Володя, что ты придешь позже. Я через пятнадцать минут кончу. Но могу и отложить, если тебе очень хочется чаю. Ты что купил?

– Пиши, я подожду, – сказал он, хмуро на нее взглянув. Письма нужно было зашифровать в Женеве, но если уж не успела, то можно было здесь и отложить на день, ничего в мире от этого не произошло бы. Впрочем, почти никогда на жену долго не сердился. Любил ее или, по крайней мере, очень к ней привык; быть может, только ей одной во всем свете верил вполне, во всем, без тени сомнения. Она была предана ему именно «беззаветно». Теперь ее усталое, рано поблекшее лицо, с бесцветными влажными глазами, с гладко зачесанными жидкими волосами, было особенно некрасиво. Он чуть вздохнул.

– Хороший амбар? Такое невнимание к тебе... К нашей партии! Хорош и Кольцов!

– Очень хорош. Лучше субъектов не бывает, на выставку послать! – сказал он сердито и осмотрелся в комнате. Она была чистая, рукомойник сносный, на подвижном шесте висели два полотенца. «У нас в Симбирске все было бы в таком отельчике загажено и проплевано». Умыться было невозможно: мыло было в чемодане. «Потом... Ох, устал, ничегошеньки не могу». Он и думал на странном языке, частью волжском, частью калужском, очень особом и чуть шутовском, с разными уменьшительными, уничижительными, грубо-насмешливыми словами. Взял с полки иллюстрированные журналы и прилег на кровать, неудобно свесив с нее ноги в залатанных, но чистых башмаках.

На обложке была изображена королева Виктория. Журнал весь был заполнен изображениями скончавшейся королевы, от ее детских лет до смертного одра. Королева на коленях молилась у гроба Наполеона I во Дворце Инвалидов; рядом, с взволнованными исторической сценой лицами, стояли ее муж, императрица Евгения и Наполеон III. В Лондоне герольды в пышных костюмах объявляли на площади о вступлении на престол нового короля. Плакали какие-то индусы в тюрбанах. Плакали английские социалисты. Плакал Сток-Эксчендж. Эдуард VII встречал на вокзале Вильгельма II. В фельдмаршальских мундирах, сплошь покрытых орденами, они ехали верхом за гробом. Были изображены разные покои Осборнского дворца, в котором королева скончалась. Дворец был не из великолепных, но роскошь покоев раздражала его еще больше, чем вид плачущих социалистов. «Ничего, дождутся! Все они дождутся!»

«Долгое царствование этой старейшей из коронованных особ Европы займет великое место в истории, – читал он. – Старик Дизраэли украсил ее корону новым драгоценным алмазом: британская королева стала императрицей Индии. Она очень дорожила этим своим титулом и даже среди своих служителей дала видное место индусам... Царствованием Виктории

заканчивается в истории, по крайней мере, в Европейской, период бурь. Хотя из-за глубокого траура в Лондоне теперь не было политических бесед, все сошлось на том, что настал, наконец, для человечества период мира, общего благоденствия и прогресса на началах свободы. («Экое, однако, дурачье! Пора бы им в желтые домики», – думал он, читая с искренним наслаждением.) Лучше всего свидетельствует об этом общая скорбь Европы. Отметим, в частности, то, что германский император своим неподдельным горем на похоронах завоевал все английские сердца. Газеты сообщали, что при его отъезде к нему на вокзале подошел простой британский рабочий, поклонился и сказал «Thank you, Kaiser!»⁵ (Ленин непристойно выругался). Ничто не могло красноречивее передать чувства английского народа, чем эти простые слова простого человека. Стоявший рядом с императором король Эдуард VII так пояснил их своему коронованному гостю: «Так же, как он, думают они все, каждый англичанин. Они никогда не забудут твоего приезда на похороны моей матери». Оба монарха были глубоко растроганы. Скажем и от себя, что если в нашей маленькой стране сердца людей и не вибрировали совершенно в унисон с сердцами британскими, то все же Осборнская трагедия нашла и у...»

– Бундовцы уйдут, и черт с ними! – неожиданно сказал Ленин. Надежда Константиновна на него оглянулась, впрочем без особого удивления: знала его манеру думать вслух, вдобавок читая о совершенно другом.

– Разумеется, пусть уходят, хотя в принципе это и нежелательно. Ты не можешь... Партия не может согласиться на федеративное начало, в этом все искряки согласны, даже мартовцы согласны, – ответила она.

«*Sans vibrer à l'unisson*»⁶, – пробормотал он и опять уткнулся в журнал. Больше текста не было, а из иллюстраций только фотография композитора Верди, скончавшегося одновременно с Викторией, да еще две свадьбы: вышла замуж голландская королева Вильгельмина и женился Поль Дешанель. «Какой еще к черту Дешанель, будь он трижды проклят?» – подумал он. Впрочем, теперь бундовцев и мартовцев ненавидел, пожалуй, больше, чем Дешанеля и обоих королев.

У него был нехороший день, один из тех дней депрессии, изредка повторявшихся всю его жизнь. Он и в эти дни твердо верил в свои силы, которые считал огромными (в чем, к несчастью для мира, не ошибался), но думал, что до революции не доживет, «зона» давала себя чувствовать, нервы были расстроены, почти как в прошлом году в Лондоне; сам чувствовал на лице измученное выражение – на людях его снимал, товарищи не должны были считать его усталым человеком, но жена в счет не шла. Его всегда утомляла дорога, неприятная близость каких-то никому не нужных, неизвестно зачем живущих людей. Раздражали его и разные чудеса капиталистической техники, гигантские сооружения, вокзалы, подъемные краны, водокачки. Это была их техника, свидетельствовавшая о могуществе врагов. Все больше думал, что если они сами себе не перережут горла, то справиться с ними будет трудно, почти невозможно. Между тем шансов на войну было немного. «Не доживу! От какой-нибудь «зоны» могу околеть за год до революции». Из всех его мыслей эта была самой ужасной.

Ему надо было еще поработать перед съездом, выправить приготовленные им проекты резолюций; но бумаги были в чемодане, жена продолжала занимать столик. Он с досадой взял другой номер журнала, с более свежей обложкой. На ней ему опять бросилось в глаза слово «Королева». – «Третья!.. Нет, это совсем не то!» – радостно подумал он. Толстая дама в светлом платье, с широкой совершенно плоской шляпой стояла под руку с опиравшимся на саблю коренастым усыатым военным. Это были королева Драга и король Александр, совсем

⁵ «Спасибо, император!» (англ., нем.)

⁶ «Не колеблясь в унисон» (франц.).

недавно убитые в Белграде. Позади них почтительно держалась свита. Фотография была снята за несколько дней до убийства. «Весь мир содрогнулся от ужаса, узнав о трагической кончине короля Александра и королевы Драги. Только сербы обрадовались этому убийству...» В свите были и люди, погибшие 11 июня с королем, и люди, принимавшие участие в убийстве. «Это так, это как водится... Все как на подбор, морды тупые и гордые, все опираются на саблю, как он». В краткой статье сообщалось, что темной ночью десятки офицеров ворвались в конак, вышибли топором двери, зачем-то бросили в первой комнате бомбу. От взрыва во дворце погасло электричество. При свете захваченных предусмотрительно огарков убийцы пробежали через ряд комнат, ворвались в спальню и там никого не нашли. «Полтора часа они по всему дворцу искали короля и королеву, заглядывали под диваны, все рубили топором и саблями. Александра и Драги не было! Наконец, первый адъютант короля, генерал Лазарь Петрович, указал им дверь в гардеробную комнату, где несчастные жертвы провели полтора часа в мучительной моральной агонии...»

Он разыскал на обложке Лазаря Петровича. «Ну, еще бы! На вид самый почтенный из всех, просто воплощение респектабельности! Такие и нужны». Затем внимательно просмотрел фотографии, дело было интересное. Были комнаты с опрокинутыми, изрубленными стульями, длинный тяжелый топор, гардеробный шкаф с отворенными дверцами, с торчавшими платьями, окно, из которого было выброшено на цветник тело Драги. «Тяжело раненная королева вскочила с пола, рванулась к этому окну и закричала. Люди слышали только один крик, страшный, пронзительный крик! Убийцы бросились на нее». – «Так, так, тон гуманно-сочувственный, а дальше, верно, будут гадости об этой самой Драге», – подумал он и радостно засмеялся, убедившись, что угадал.

На другой фотографии был изображен конак (журнал, видимо, щеголял этим словом). Дворец был небольшой. «На Зимний не похож, да там и охрана не такая». Он не сочувствовал этим заговорщикам, которые убили одного короля, чтобы тотчас посадить на его место другого. Но многое в них ему нравилось, хотя социал-демократия не признавала террора. «Да, эти дали тон начавшемуся веку, а никак не то лондонское дурачье с кретином: рабочим. Не очень, видно, «заканчивается в истории период бурь». Он бросил журнал и вернулся к своему плану действий на съезде. Обдумывал, как шахматист, разные комбинации. Лучше всего было бы, конечно, если б единоличным редактором «Искры» стал он, а в Центральный Комитет вошли, кроме него, еще три-четыре человека из его подручных. У него всегда были «окольничьи», – люди, называвшиеся так потому, что на церемониях находились около московских царей. Но он знал, что это на съезде пройти не может. «Начнется вой: «диктатура!» Буду, разумеется, отрицать, с тремоло в голосе а ла Троцкий». Перебирал разных товарищей по съезду. Почти все были люди незначительные. Многие были хорошие люди, но это не имело никакого значения. Моральными качествами людей он интересовался мало; вдобавок, так называемый хороший человек не очень отличался от так называемого дурного. В своих письмах (раз сам называл их «бешеными») осыпал грубой бранью и врагов, и единомышленников, и полуетодиномышленников, и бывших единомышленников, Струве называл «Иудой», Чернова «скотиной», Радека «нахальным наглým дураком», Троцкого «шельмецом», «негодяем», «сим мерзавцем»; «подлейшим карьеристом»; говорил о «трусливой измене» Плеханова, о «поганеньком, дряненьком и самодовольном лицемерии» Каутского, о «подлой трусости» своего друга Богданова, говорил даже о «подлостях» Мартова, недавно ближайшего из друзей; его в душе до конца жизни считал благородным человеком и даже по-своему «любил». В совокупности большая часть социал-демократов составляла его партийное хозяйство, и к своему хозяйству он относился заботливо, как владелец к предприятию. Из людей вообще когда-либо живших он боготворил Карла Маркса, которого никогда не видел; писал, что в Маркса влюблен и ни одного худого слова о нем спокойно не выносит. Позднее в Петербурге говорили, будто он «обожает» Максима Горького, – бывший Иегудиил

Хламида очень этим гордился. Действительно, в своих письмах Ленин не называл его ни негодяем, ни мерзавцем: называл только «теленком». Как «политического деятеля» ни в грош его не ставил. Книжки же его хвалил, хотя и без горячности. Как-то в разговоре с ним, «прищурив глаза» (по-видимому, насмехаясь над творцом литературных босяков), восторгался Львом Толстым: «Вот это, батенька, художник! И знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было».

Разумеется, главную свою задачу на съезде он видел в том, чтобы стать хозяином партии. Соперников в сущности не было. «Плеханов быть главой партии не может. Он примадонна, слишком тщеславен, слишком *rechthaberisch*⁷, всего боится и во всем колеблется. Пусть открывает съезд, это с полным нашим удовольствием. Будет стоять на трибуне в длинном полом наряде, конечно, со скрещенными ручками, у него всегда скрещенные ручки, не то Наполеон, не то Чаадаев, – ох, надоело. Будет сыпать цитатами; и тебе Дидро, и тебе Ламеттри, и тебе Герцен. Никак не мог быть соперником и Мартов. «Слишком щепетилен, слишком нервен, вечно волнуется так, точно сейчас упадет в обморок, разве вожди бывают такие!» Об Аксельроде или Засулич и говорить серьезно не приходилось. В последнее время в партии начал выдвигаться молодой эмигрант Лев Бронштейн, обычно подписывавшийся «Н. Троцкий». В обычае было менять не только фамилии, но и имена. Так было и в литературе. Алексей Пешков уже прогремел в России под псевдонимом Максима Горького. Троцкий хлестко писал, прекрасно говорил, бросал чеканные восклицания не хуже, чем Плеханов, и явно старался выйти в вожди; однако у него не было армии, хотя бы полагавшегося минимума из трех-четырех человек. Его все терпеть не могли; от него не просто веяло тщеславием, как от Плеханова: он был весь воплощенное тщеславие. «Мартов ему покровительствует и хочет провести его в Феклу. Никогда не пройдет. Георгий Валентинович наложит вето, уж он-то его совершенно не выносит. И мне надоело со своим мефистофельским видом. Этот вид очень культивирует, особенно когда при деньжатах. А когда их нет, тотчас впадает в тоску...»

– Кончила! – радостно объявила Надежда Константиновна. – Теперь будем пить чай!

– Вот и хорошо.

Она достала чайник, который всегда возила с собой по разным странам, взглянула на мужа и на цыпочках вышла из комнаты. Он продолжал думать о съезде. Настоящая борьба должна была произойти лишь в конце, при обсуждении устава, при выборах редакции и Центрального Комитета. Знал, что до того депрессия у него совершенно пройдет. Обычно ей на смену приходил период необычайной, кипучей деятельности. В сотый раз подсчитывал соотношение голосов. Ему было известно, что многие социал-демократы в России с неудовольствием и с насмешками относятся к тому, что называли «эмигрантской склокой», «сварой», «грызней». Этих товарищей он считал уже совершенными дураками: они просто ничего не понимали. Действительно вся его жизнь в эмиграции была сплошной «склокой». Ею заполнены и многочисленные томы его по форме скучнейших произведений (у него не было литературного дарования). Но, быть может, он – и только он – уже тогда понимал, что в этой склоке зародыш больших исторических явлений: были две партии, а для революции ему нужна была одна, – разумеется, под его единоличной и неограниченной властью: партия окольничьих.

– Разрешили вскипятить воду и дали чашки, – сказала Крупская, вернувшись с подносом. – Тут в Бельгии тоже пьют чай в чашках! Их стаканы от кипятку и полопались бы. Ну, посмотрим твои покупки. Верно переплатил? И, пожалуйста, не сердись, Володя, что я не успела зашифровать в Женеве. Это моя вина. Ты не сердишься?

– Не сержусь, – рассеянно ответил он.

– Письмо страшно важное! Отлично ты им написал.

⁷ Неуступчив (нем.).

II

Аркадий Васильевич Рейхель не слишком охотно принял предложение Ласточкиных приехать к ним из Парижа в Монте-Карло. Ему не хотелось отрываться от работы в Пастеровском институте и от привычных условий жизни. Люда решительно отказалась ехать с ним.

– Нечего мне у них делать, и вовсе я им не нужна, да и мне они не нужны. И зовут они меня, так сказать, «за компанию» с тобой, – говорила она.

– Мне неприятно вводить их в лишние расходы.

Рейхель жил на средства своего двоюродного брата. Они были дружны. Ласточкин по природе был щедр, а с тех пор, как разбогател, охотно дарил деньги даже чужим людям. Ему казалось совершенно естественным, что его молодой кузен, талантливый биолог, еще нуждается в его помощи. Спор между ними сводился к тому, что Аркадий Васильевич соглашался принимать только двести рублей в месяц, а Дмитрий Анатольевич предлагал ему гораздо больше. «Состязание в благородстве между двумя сверхджентльменами», – иронически, как почти всегда, говорила Людмила Ивановна. Она тоже была бескорыстна. Двухсот рублей было вполне достаточно при их скромной жизни, но Люда находила, что спорить не стоит и даже несколько смешно: уж если брать деньги у Ласточкина (это и ей было не совсем приятно), то совершенно все равно, брать ли двести или, например, четыреста. Как раз две недели тому назад, перед своим отъездом из Москвы за границу, Дмитрий Анатольевич прислал экстренную сумму, с очень милым и деликатным письмом: «...Надеюсь, вы на меня не рассердитесь, – писал он, – но ведь ты, Аркаша, не станешь меня уверять, будто ты мог кое-что отложить в запас. И Тане и мне совестно отрывать тебя от лаборатории, да уж очень нам хочется увидеть вас обоих в Монте-Карло, мы больше года не виделись, а в Париж мы на этот раз заехать не можем: и туда, и назад едем прямо через Вену. Умоляем вас, приезжайте, хотя бы на две недели. К тому же ты ведь можешь рассматривать и эти деньги, как «долг», уж если ты такой гордый чудак и не желаешь понять, что после жены и сестры ты для меня самый близкий человек на свете. Когда ты через год вернешься в Москву, ты легко найдешь хорошо оплачиваемую работу. У нас теперь ученые институты растут как грибы. Итак, приезжайте непременно и телеграфируйте, на какой день приготовить для вас комнату».

Люда настояла на том, чтобы Рейхель принял приглашение. Она не прочь была пожить две недели в Париже без него.

– Как же я им объясню, что ты со мной не приехала?

– Объясни, как тебе угодно. Можешь сказать, что у меня очень много работы перед партийным съездом в Брюсселе.

– Это у них восторга не вызовет.

– Я давно примирилась с тяжелой мыслью, что проживу свой век, не вызывая восторга у московских буржуа.

– Если ты не поедешь, то надо вернуть Мите хоть половину его денег.

– Деньги занимают слишком много места в твоей психике. Но, пожалуй, верни. Если же он не примет, то отдай мне для партии.

– Партия занимает слишком много места в твоей психике.

– Хорошо сравнение! Впрочем, делай как хочешь.

Вышел холодок, вероятно, пятидесятый по счету в их жизни за последний год. Ссоры не было, но у обоих скользнула мысль, что было бы не так страшно и расстаться. У Рейхеля любовь и вообще не занимала большого места в жизни, и он этим немного гордился.

В назначенный для его отъезда день оба встали очень рано. Умывшись, Аркадий Васильевич положил туалетные принадлежности в потертый, с оторванной ручкой, не запирав-

шийся чемодан. По выработанной Людой конституции, вещи всегда укладывал он. Все уложил с вечера. Так как поездка была «для отдыха», он взял с собой лишь немного книг, – в других случаях книги составляли его главный груз. Тем не менее туалетные принадлежности еле вошли, он с трудом стянул ремни. Люда с досадой смотрела на его высокую, нескладную, чуть сутуловатую фигуру, на мыло, зубную щетку, эликсир, завернутые в газетную бумагу, на чемодан, купленный в Москве на толкучем рынке: все-таки хорошо было бы иметь приличные дорожные вещи, за которые не было бы стыдно перед носильщиками.

– Если ты не желаешь казаться оборванцем, то купи наконец хороший мэдлеровский чемодан! – нередко говорила она. Так провинциальные журналисты иногда в передовых статьях писали: «Если Англия не желает опуститься до уровня второстепенной державы, то...» Аркадий Васильевич так же мало желал казаться оборванцем, как Англия опуститься до уровня второстепенной державы. Все же он хорошего мэдлеровского чемодана не покупал, – «устроимся в Москве, станем на ноги, тогда и купим».

Люда провожала его на Лионский вокзал. Перед уходом из дому простилась со своей кошкой Пусси, поцеловала ее и поговорила с ней на кошачьем языке. Рейхель только вздыхал. Эта кошка отравляла ему жизнь, рвала и пачкала мебель, вскакивала за обедом на стол, интересовалась его тетрадями. Как всегда, они не рассчитали времени и приехали за полчаса до отхода поезда.

– Я говорила тебе, что слишком рано едем! Что теперь здесь делать!

– Напротив, это я говорил, что слишком рано едем. Но тебе незачем оставаться на вокзале, поезжай домой или куда тебе нужно.

Она осталась, хотя знала, что разговаривать не о чем и незачем. Аркадий Васильевич купил билет третьего класса, обстоятельно расспросил в кассе, подан ли уже поезд и на каком пути он стоит, затем для верности спросил о том же контролера при выходе, еще у кого-то на перроне, прочел надпись «Париж – Вентимилия», осведомился у кондуктора, идет ли этот вагон в Монте-Карло без пересадки, и втащил чемодан в вагон. Люда шла за ним.

– Кулька с провизией в сетку не клади, положи на скамейку, – сказала она. – Посидим на перроне, здесь душно.

– А не стащат чемодана?

– Хоть бы какой-нибудь дурак нашелся, который тоже приехал бы на вокзал за час. Его можно было бы попросить, чтобы он присматривал. Нет, никто на твой драгоценный чемодан не польстится.

На перроне они заняли места на скамейке. Оба поглядывали на вагон, не выскочит ли вор с чемоданом. Рейхель с наслаждением закурил папиросу.

– Первая из пяти, полагающихся по моему правилу в день.

– У тебя на все правила! Разве так нужно жить человеку, да еще в двадцать девять лет?

– По-моему, именно так, и в двадцать девять лет, и в семьдесят девять... Все-таки Митя и Таня огорчатся и обидятся, что ты не приехала.

– А я совершенно уверена, что не огорчатся и не обидятся. Твоя Татьяна Михайловна и не так жаждет меня видеть. Помимо прочего, я не жена – просто, а «гражданская». Это к ее герцогскому стилю и не идет, они ведь в Москве теперь принадлежат к так называемому «лучшему» обществу. А ей надо быть особенно осторожной, потому что она еврейского происхождения, хотя и крещеная...

– Их общество не «так называемое», а в самом деле лучшее: цвет московской интеллигенции. И в нем о происхождении никто не думает, – сказал Рейхель без убеждения в голосе: он недолго любил евреев.

– Нет, к сожалению, думают везде, кроме нашего революционного круга.

– Вспомнила однако именно ты, хотя ты принадлежишь к «революционному кругу».

– Я, конечно, пошутила. Но Татьяну Михайловну я действительно не люблю и не понимаю, почему это надо скрывать? Как тебе должно быть давно известно, я вообще привыкла называть вещи своими именами.

– На вокзальном перроне можно и не говорить о твоей глубочайшей философии жизни.

– А в гостях у Ласточкиных я чувствую себя как свергнутый южноамериканский диктатор, укрывшийся в чужом посольстве: может быть, хозяева мне и рады, а вернее, они желают, чтобы я поскорее уехала. Со всем тем, я ничего против них не имею. Дмитрий Анатольевич очень хороший человек, он в буржуазии белая ворона.

– То-то и есть, что ты всю буржуазию не любишь.

– Любить и не за что. Конечно, есть исключения. Дмитрий Анатольевич хоть понимает очень многое, он из лучших представителей своего класса и поэтому...

– Какой там класс! – сказал Рейхель, не дослушав.

– Да, да, знаю, никаких классов нет, и социологию вообще кто-то выдумал, а есть только биология, – сказала Люда пренебрежительно. – Но вот что, если тебе там будет приятно, то посиди в Монте-Карло несколько лишних дней. Я все-таки и сама поехала бы, если б не партийная работа. Так и скажи Дмитрию Анатольевичу, непременно скажи. Он, наверное, много мог бы рассказать о настроениях среди московских рабочих. Как это Татьяна Михайловна не заезжает на этот раз в Париж, к своему Ворту? – насмешливо спросила Людмила Ивановна. Она, впрочем, и сама, несмотря на скромные средства, одевалась недурно. Умела заказывать и покупать все недорого, сама, без парикмахера завивала волосы щипцами и «притиралась» (не принято было говорить: «красилась»). На ней и теперь, с утра был элегантный синий жакет с модной длинной расширявшейся книзу юбкой. Люда говорила некоторым знакомым, что «признает и абсолютную красоту, и условную красоту». Впрочем, такими изречениями не злоупотребляла. – Смотри: Джамбул! – вдруг сказала она и радостно закивала хорошо одетому человеку, вышедшему из туннеля с двумя молодыми дамами (Люда быстро-внимательно их оглядела). Этот человек тоже радостно ей улыбнулся, снял шляпу и, что-то сказав дамам, подошел к Люде. Лицо у него было красивое – «из тех, что называют породистыми, а глаза и губы из тех, что называют страстными или чувственными. На лбу следы шрама. «Что еще за субъект?» – с неудовольствием подумал Аркадий Васильевич. – Какая неожиданная встреча! Вы не знакомы: Рейхель. Джамбул.

– Очень приятно познакомиться. Я о вас слышал... Да, очень приятная неожиданность.

Он говорил с кавказским акцентом. Его дамы окинули Людмилу Ивановну не очень дружелюбным взглядом, прошли дальше и остановились у выхода.

– Вы уезжаете?

– Нет, я его провожаю. Да наденьте же шляпу... Откуда вы?

– Из Фонтенбло. Что Ленин?

«Значит, и этот из их компании», – с еще большим неудовольствием подумал Рейхель.

– Ильич? Ничего, все благополучно.

– Это нехорошо, человек не должен жить благополучно, – сказал, смеясь, Джамбул. – Готовится к съезду?

– Готовится. А что вы? Получили мандат?

– Помилуйте, от кого? Но я все-таки приеду.

– Мы вам устроим совещательный голос.

– Не надо мне никакого голоса. Не люблю трюков. Не люблю и голосовать.

– Ось лихо! У меня у самой будет только совещательный.

– Вы другое дело... У вас отличный вид. Еще похорошели. И так элегантны, – сказал он. Был всегда очень вежлив и подчеркнуто любезен с дамами; но любезность точно бралась им в какие-то кавычки. Кое-кто находил ее «нахальной». «Глаза у этой Люды красивые, хоть «ложно-страстные», – определил Джамбул.

– Мерси. Меня обычно бранят товарищи за то, что я стараюсь не походить на чучело вроде Крупской. А вот вы одобряете. Долго ли пробудете в Париже?

– Еще не знаю. Разрешите к вам зайти?

– Буду искренно рада. Вы всегда так интересно рассказываете.

Рейхель зевнул демонстративно. Джамбул на него взглянул и простился, опять вежливо подняв шляпу над головой.

– Кто такой? – спросил Аркадий Васильевич. – От наружности впечатление: не дай Бог ночью встретиться в безлюдном месте.

– Ну вот, ты так всегда! Говоришь, что я не люблю буржуазию, а сам все больше ненавидишь революционеров. С годами ты станешь черным реакционером!.. Он очень мне нравится. Красивый, правда? И вдобавок, геркулес, хоть только чуть выше среднего роста. Интересный человек. О нем рассказывают легенды! Говорят, он с кем-то побратим! Ты знаешь, что это такое? Один разрезывает у себя руку, другой выпивает кровь, и с тех пор они братья до могилы!

– Я не знал, что этот обычай принят у марксистов, – сказал саркастически Рейхель. – С кем же он побратим? С Лениным или с Плехановым?

– Дурак! С кем-то на Кавказе. И еще у него, кажется, была там американская дуэль, если только люди не врут.

– Наверное, врут и с его же слов. Всех перевешать! – сказал рассеянно Аркадий Васильевич. Он часто ни к селу ни к городу произносил эти бессмысленные слова; впрочем произносил их довольно мирно.

– Сейчас всех своими руками перевешаю.

– Как ты его назвала? Джамбул?

– Это, конечно, псевдоним. Он не то осетин, не то ингуш, или что-то в этом роде, во всяком случае мусульманин. Обе дамы красивые. Ведь у мусульман разрешается многоженство? – спросила, смеясь, Люда. – И какой учтивый, это у нас редкость... Ну, вот, кричат «En voitures!»⁸. Садись поскорее. Я тебе в кулек положила сэндвичи, пирожки, яблоки. С голоду не умрешь. А то выброси кулек за окно и пойдешь в вагон-ресторан, я непременно так сделала бы. Ну, счастливого пути, Аркаша!

Они поцеловались.

– До свиданья, милая. Пожалуйста, помни, что, несмотря на страдания пролетариата, надо каждый день и завтракать и обедать. Не экономь на еде, лучше умори голодом проклятую кошку...

– Типун тебе на язык!

– «Нехай вина скажутся». Говорю в подражание тебе. Ты такая же украинка, как я. Или как римский папа. Умоляю тебя, не работай ни на кошку, ни на партию, нехай и вина скажутся.

– Отстань, нет мелких, – сказала Люда. У нее тоже были бессмысленные присказки. – Как это я еще тебя терплю?

– Грозное «еще».

– Сердечный привет Дмитрию Анатольевичу. Так и быть, кланяйся и его герцогине. И не забудь исполнить мою просьбу о Морозове.

– Исполню, но с проклятьями.

Как только Рейхель вошел в вагон, Людмила Ивановна направилась к выходу. Заключительной части вокзального ритуала, с воздушными поцелуями после отхода поезда, она не соблюдала. Своей быстрой энергичной походкой – всегда казалось, что она бежит, – прошла к киоску, купила газету, подумала, что возвращаться домой не стоит, они жили далеко,

⁸ «По вагонам!» (франц.)

в меблированных комнатах около Пастеровского института, а часа через полтора у нее было назначено деловое свидание в центре города. «Разве выпить здесь чашку кофе?»

В кофейне она просмотрела газетные заголовки, большие и малые. О предстоявшем в Брюсселе съезде русских социал-демократов нигде не упоминалось. «Разумеется! Если б еще мы были жоресистами, тогда все же писали бы. Но мы настоящие революционеры, а они о революции думают как о прошлогоднем снеге».

К ней подошел котенок. Люда ахнула от восторга и заговорила по-кошачьи: «Бозе мой, Бозе мой, мы такие симпатичные, мы хотели бы выпить молоцка!» Вылила остаток молока на пол, котенок слизнул и ушел. Она обиделась. «Пора и мне уходить. Взять с собой газету? Не стоит. Пусть лучше гарсон прочтет, ему и это будет полезно для развития классового сознания. К какому классу принадлежат гарсоны?.. Аркаша, верно, уже погрузился в свой ученый хлам...»

Она еще называла его «Аркашей»; в третьем лице, в разговорах со знакомыми, говорила «Рейхель». «Неподходящее было дело», – думала Люда, разумея их связь, длившуюся уже более двух лет. Думала, однако, без сожаления: вообще над своими поступками размышляла недолго и почти никогда ни о чем не сожалела. «Сошлись, ну и сошлись. Он верно про себя имеет для этого какое-нибудь физиологическое объяснение: тогда очень долго не имел женщин, что ли? Можно и разойтись. Я отлично сделала, что отказалась пойти с ним в мэрию».

Людмила Ивановна с самого начала сказала Рейхелю, что стоит за полную свободу. – «Это, кажется, проповедует ваша товарищ Коллонтай... Как, кстати, о ней говорить: «ваша товарищ» или «ваш товарищ»? – «Мне все равно, кто что проповедует! Я живу своим умом. И ничего нет остроумного в насмешках над словом товарищ!» – «Да я нисколько и не насмехаюсь. Товарищи есть даже у министров. Я впрочем никогда не понимал, как это цари ввели такой фамильярный чин. «Виц» был гораздо естественнее». – «Хорошо, но, возвращаясь к делу, я тебя честно предупреждаю: если ты мне надоешь, то...» – «А почему тебе не сказать: «если я тебе надоем, то»? – «Совершенно верно. То в обоих случаях мы миролюбиво расстанемся». Теперь думала, что Рейхель очень порядочный человек, но слишком сухой и скучный. «Не умный и не глупый. Ну, пусть поживет по-буржуазному и немного отдохнет от моих обедов, с герцогиней Ласточкиной, *née Kremenetzky*»⁹. Люда уверяла, что умеет готовить только бифштекс и самую простую из тридцати французских яичниц. «Да еще теоретически знаю, как варят борщ, – говорила она знакомым, – но он требует много времени, а Рейхель не замечает, что ест. Надежда Константиновна стряпает не лучше меня и за обедом вдобавок изрекает глубокие истины. Недаром Ильич любит пообедать в ресторанчике и тогда становится очарователен». Она обожала Ленина и недолюбливала Крупскую.

Аркадий Васильевич в самом деле тотчас углубился в книгу научного журнала. Мысленно подверг критике каждое положение работы известного ученого и признал ее неубедительной. Радостно подумал о своем собственном исследовании. Оно шло прекрасно. «Верно вызовет шум. Но получить кафедру будет все же не так легко, как говорит Митя. Он просто этого не знает. Конечно, скажут: «Нет, молод, пусть поработает лаборантом». Идти в лаборанты ему очень не хотелось. «Разве Митя действительно достанет деньги и на институт? Вот было бы хорошо! Но и тогда верно скажут, что молод!» В последний год единственным его желанием было стать директором лаборатории, совершенно самостоятельным во всех отношениях. Главным препятствием была его молодость. «Дадут тогда, когда силы, творческие способности уменьшатся. Как глупо, как нелепо!»

⁹ урожденная Кременецкая (франц.).

На соседей по вагону он еле взглянул. У него была особенность: запоминал чужие лица только после довольно продолжительного знакомства, а случайных знакомых никогда при новой встрече не узнавал. Этот физический недостаток его огорчал, и он старался развивать свою зрительную память. Люда часто называла его пренебрежительно «гелертером»¹⁰, и это его раздражало. «Ну да, если человек занимается наукой и не интересуется социал-демократическими съездами и бабьими финтифлюшками, то значит «гелертер»! На самом деле даже непохоже. Меня действительно не интересуют средние люди, но только средние. Когда я был в университете, мне хотелось написать монографию о Роджере Бэконе. Даже материалы стал изучать», – сказал он как-то Люде. – «А кто такой Роджер Бэкон? Спрошу Ильича, что он думает о Роджере Бэконе». – «Да твой Ильич, может быть, о нем сам не слышал. Ты у меня спросила бы, я рассказал бы тебе в свободное время». – «Ильич не слышал! Нет вещи, которой Ильич не знал бы. И уж извини, его мнение меня интересует больше, чем твое». – «В этом я ни минуты и не сомневался!» – Это было их общее выражение, всегда производившееся обоими с некоторым вызовом.

Соседи мешали ему сосредоточиться на ученой работе. Всего больше раздражал его пассажир, спавший против него со странно заложенными позади головы руками. «Нормальный человек так спать не может, да и незачем утром спать. И ноги он вытянул довольно бесцеремонно, точно я не существую». Кто-то в отделении достал из мешочка еду, другие оживились и сделали то же самое. Рейхель отложил журнал и развернул свой кулек. «Позаботилась Люда!.. Собственно я ничего не могу поставить ей в вину, кроме ее проклятой революционности. Но я знал, что она революционерка, следовательно, не могу упрекать ее и в этом. До сих пор не могу понять, зачем я ей тогда понадобился. Мало ли у них таких Джамбулов. Впрочем, не хорошо так думать, это не по-джентльменски». Он выбросил за окно пустой кулек, опять с досадой взглянул на спящего человека и углубился в журнал.

¹⁰ Ученый (нем. Gelehrte).

III

На вокзале в Монте-Карло поздно вечером его встретил Ласточкин. Татьяна Михайловна была не совсем здорова.

— ...Нет, решительно ничего серьезного, просто немного простужена. У нас здесь были и холодные дни, погода все менялась, а Таня легко простуживается. Сейчас ее увидишь, она нас ждет. Ну, как ты? Вид у тебя усталый. Переработался? За год ты еще похудел. Брал бы пример с меня.

— Да, ты немного полнеешь. Ты стал еще больше похож на Герцена, — сказал Аркадий Васильевич. — Люда шлет сердечный привет вам обоим.

— Не говори мне о Люде, я не хочу о ней слышать! Какое безобразие, что она не приехала! Что это за довод, будто она очень занята! Мы ее год не видели.

— Скоро мы вернемся в Москву.

— Да, но это не резон. Так хорошо провели бы с ней время в Монте-Карло... Хорош и ты! Приехал в третьем классе! Просто беда с вами... У тебя нет ничего в багажном вагоне?

— Ничего нет, я приехал налегке. В этом чемодане только белье, перемена платья и смокинг. Я ведь знаю, что в вашей гостинице смокинг необходим.

— Совершенно необходим. А из-за этого третьего класса ты опоздал к обеду. Мы и то удивились, узнав, что ты приезжаешь поздно вечером, есть лучшие поезда... *Porteur!*¹¹ — закричал Дмитрий Анатольевич.

— Собственно и носильщик не нужен. Мой чемодан не тяжелый, легкий.

— Быть может, ты хочешь пешком тащить чемодан и в гостиницу? Всегда ты был чудачком и останешься им до седых волос... Не спрашиваю тебя о работе, знаю, что она идет прекрасно. Ты будущий наш Пастер!

— Не произноси всуе имя Пастера, — сказал Рейхель, впрочем довольный. Как всегда бывает при первой встрече после долгой разлуки, он не находил предмета для разговора. — А как твоё здоровье? Что одышка?

— Пока очень легкая. Верно, слишком много ем и пью. Ты не можешь себе представить, что творилось в Москве, особенно в пору праздников! На Новый год мы помимо того, что должны были разослать сотни поздравительных карточек и десятки подарков, еще...

— На редкость нелепый обычай! Я никому карточек не посылаю. Только даром люди тратят время и причиняют знакомым неприятность.

— Совершенно с тобой согласен, но не я этот обычай выдумал... А помимо этого, завтраки, обеды, ужины следовали один за другим — и какие! Мой врач уже грозит, что летом сошлет меня в Мариенбад!.. Вот извозчик, садись...

— А отчего вы не взяли с собой Нину? — спросил в коляске Рейхель

— Ни за что не хотела поехать. Знаешь, она теперь погрузилась в архитектуру.

— Да, ты писал. Странное занятие для женщины! Если б ты хотел выстроить себе дом, поручил ли бы ты это дело даме? Но чем же ей архитектура мешала поехать с вами?

— Вот, поди ж ты, мешала! — ответил весело Ласточкин. — Теперь на Воздвиженке строится великолепное палаццо... Нет, не палаццо, а «палаты». Они у нас все, и купцы, и аристократия, помешались на русском стиле. Архитектор с немецкой фамилией строит... Как по-немецки «палаты»? Скажем, «палатен», «*echt Russisch*»¹². Я ей выхлопотал разрешение следить за постройкой. Нина очень увлечена и проводит там целые дни. — Он знал, что его сестра не поехала с ними за границу не поэтому: просто не хотела им мешать и вводить их

¹¹ Носильщик! (*франц.*)

¹² «подлинно русский» (*нем.*).

в расходы. «Так же щепетильна, как Аркадий. Оба чудаки», – подумал он, хотя и сам на их месте поступал бы точно так же. – А отчего женщине не быть архитектором? Не бойся, я не произнесу тирады в защиту женского равноправия и не сошлюсь на Софью Ковалевскую. Но я очень рад увлечению Нины. Это гораздо лучше, чем ждать, пока какой-нибудь холостяк удостоит ее внимания. Мне всегда было жаль девушек, у которых нет другого дела, как ждать появления жениха и тщательно это скрывать. Или, еще гораздо хуже, смотреть, как для нее травят жениха родные.

– Да, ты прав, – сказал Рейхель. – Какое прекрасное место Монте-Карло! И какой воздух!.. Этот сад, кажется, прозван «Садом самоубийц»? Здесь будто бы кончают с собой люди, проигравшиеся в притоне? – спросил он. Ласточкин поморщился.

– Вероятно, такие случаи очень редки. Никогда не мог понять, почему люди кончают с собой. Жизнь так прекрасна! Да еще расставаться с ней только потому, что не стало денег! Их очень легко наживать.

– Ну, не очень легко.

– Ты просто не пробовал. Если я вдруг потеряю состояние, которого у меня десять лет тому назад и не было, то я вздохну, сообщу Тане, она тоже вздохнет, а вечером пойдем в оперу, особенно если будут «Мейстерзингеры», это наша любимая, от нее веет радостью жизни. А на следующее же утро опять примусь за работу, и думаю, что скоро у меня опять появятся деньги. Впрочем, не сочти это за хвастовство или за излишнюю самоуверенность.

– Ты «победитель жизни», как, кажется, пишут романисты. Я уверен, ты со временем станешь одним из богатейших людей России, – сказал Аркадий Васильевич. Он был лишь немногим более завистлив, чем другие люди; завидовал только прославившимся биологам и не завидовал богачам; но в тоне его скользнуло что-то неприятное. Ласточкин на него взглянул.

– На это пока очень непохоже, – смеясь, сказал он. – Вот мы и приехали.

Татьяна Михайловна ждала их в салоне роскошного номера. Ей было еще далеко до того возраста, когда человек уже не может быть вполне здоровым, когда люди начинают подумывать, от чего умрут, начинают соблюдать режим и следить даже за чужими болезнями. Но вид у нее был очень утомленный. Как всегда, она была хорошо и просто одета. Рейхель постарался запомнить ее пеньюар: «Люда будет спрашивать. И ни под какую герцогиню Таня не подделывается. Ей от природы свойственна редкая благожелательность к людям», – думал Аркадий Васильевич с недоумением: он сам был совершенно лишен этого свойства. «Никогда никому ни одного неприятного слова не говорит». Это было верно. Самой основной чертой в Татьяне Михайловне была, как шутил ее муж, ее редкая «лояльность»: «никогда, например, не забывает хотя бы небольшой услуги, оказанной ей людьми, и уж этим людям верна до гроба».

Она расспрашивала Рейхеля об его работе, об их жизни в Париже, мягко попеняла, что он не привез с собой жену. «Моя работа ее совершенно не интересует, Люду она не любит, между тем она очень правдива. Странно».

– Привезли с собой «талисман», Таня, – сказал он, показывая на фотографию Дмитрия Анатольевича, стоявшую на столике в углу. Татьяна Михайловна засмеялась. Она обожала мужа. У них детей не было. Рейхель знал, что это было единственное горе их жизни. Это тоже очень его удивляло.

– Привезла, хотя оригинал находится тут же... Должно быть, вы очень проголодались, Аркадий? Хотите, мы закажем ужин сюда в номер, чтобы вам не переодеваться, – сказала она, скользнув взглядом по его потертому пиджачку с засыпанным перхотью воротничком.

– Какой там ужин! Я в вагоне очень плотно поел, Люда мне отпустила всего точно на полк солдат. Но вы не бойтесь, Таня, у меня есть смокинг, и я завтра же его к обеду надену.

Правда, не очень элегантный. Я его купил в «Бон-Марше» готовым за сто франков. Спешно понадобился для парадного обеда.

Ласточкин благодушно улыбался. «Аркаша всегда говорит такие вещи точно с вызовом!» Рейхель помнил, что еще в ту пору, когда они оба были бедны и он покупал подержанное платье, его старший кузен заказал себе костюм за тридцать пять рублей «из настоящего английского материала», – об этом почтительно говорили в их городке. Теперь Дмитрий Анатольевич одевался превосходно. В Петербурге заказывал костюмы у Сарра, а в последние годы кое-что заказывал в Лондоне у Пуля, к которому получил необходимую рекомендацию. Он умел хорошо носить даже сюртук, самый безобразный из костюмов.

Улыбалась и Татьяна Михайловна.

– Узнаю вас, Аркадий. Когда вы вернетесь в Москву, мы вами займемся. У нас и ученые хорошо одеваются. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей...» Но что же вы будете теперь делать, друзья мои? Не сидеть же вам весь вечер с бедной больной... Нет, нет, я этого не потерплю. Разве пойдете в казино? Не пугайтесь, играть совершенно не обязательно. Но и там нужен смокинг.

– Со мной пустят и без смокинга. Меня уже знают, достаточно оставил тут денег! – сказал Ласточкин. – Так ты решительно не пойдешь с нами, Танечка?

– Нет, поздно, я лягу, немного болит голова. Аркадий извинит меня, завтра обо всем как следует поговорим.

– Ну, что, как тебе нравится этот притон? – спросил Дмитрий Анатольевич, когда они, походив по раззолоченным залам, уселись за столик в кофейне. Рейхель предпочел бы вернуться в гостиницу и тотчас лечь спать: был утомлен дорогой и привык ложиться рано. Но ему казалось, что его двоюродному брату очень хочется поговорить. «Вероятно, об умном. В Москве Митя имеет репутацию «прекрасного передового оратора». Ох, недорого стоят все их легко приобретаемые общественные ярлычки».

– Да я здесь раз был два года тому назад. Разумеется, ни одного сантима тут не оставил. Не понимаю этого удовольствия. Эти груды золота на столах, эти искаженные лица игроков, которые старательно делают вид, будто им, при их богатстве, совершенно все равно. Неужели и ты, Митя, здесь много проиграл?

– Нет, не очень много. А если говорить правду, то в Москве теперь идет гораздо более крупная игра, чем в Монте-Карло. Один из Морозовых, Михаил Абрамович, в одну ночь проиграл миллион рублей табачному фабриканту Бостанжогло.

– Миллион рублей!

– Так точно. Ты не можешь себе представить, что такое нынешняя Россия. Мы все читали о разных Клондайках и Трансваалях, где люди быстро наживали огромные состояния. Так вот, наша милая старая Москва теперь почище всяких Клондайков. Наши богачи и живут так, как американские миллиардеры: по телеграфу, не глядя, покупают имения, виллы, чуть ли не заказывают экстренные поезда или отдельные вагоны. Это глупо, но наряду с этим они делают и очень хорошие, полезные дела.

Он заказал напитки и стал с увлечением рассказывать о Москве, о росте русской промышленности, о создающихся громадных богатствах, о больших частных пожертвованиях. Говорил он так хорошо, что и Аркадий Васильевич заслушался, хотя мало интересовался ростом русской промышленности. «Очень способный человек Митя, даже талантливый, но тоже кое в чем странный. Грюндер¹³? Нет, какой он грюндер? Скорее поэт», – подумал Рейхель, у которого поэт был едва ли лучше «грюндера». Он впрочем любил своего двоюродного брата; любил бы еще больше, если б не был вынужден жить на его деньги. «И манера

¹³ Основатель (нем. Gründer).

речи у него необычная, уж очень всех и все уважает», – думал Рейхель, почему-то вспомнив одного своего собрата, который никогда не говорил «Гёте» или «Леонардо да Винчи», а всегда «великий Гёте», «гениальный Леонардо да Винчи», и даже современников называл и за глаза по имени-отчеству: не «Мечников», а непременно «Илья Ильич Мечников».

– В известном анекдоте об Англии, – сказал Дмитрий Анатольевич, – британского помещика иностранцы спрашивают, почему в Англии такие превосходные луга, площадки для игр, для цветов. «Это очень просто, – отвечает помещик. – Надо только ухаживать за ними семьсот лет». Кажется, все восторгаются этим ответом. А я удивляюсь: хорошо было бы человечество, если б ему нужно было семьсот лет для устройства хороших лужаек и площадок! У нас теперь все создается со сказочной быстротой и тем не менее с любовью, со знанием дела, с размахом. Через четверть века Россия будет самой процветающей страной мира! – говорил Ласточкин. – Что было бы с ней уже теперь, если б была конституция, хотя бы куцая! Но она скоро будет. Самодержавие идет к концу. Конечно, теперь промышленники первенствующее сословие России, а никак не дворянство, не понемногу исчезающий помещичий класс, на который самодержавие опиралось. Ты улыбаешься?

– Признаюсь, я не умею думать в категориях сословий. По-моему, «первенствующее сословие» это интеллигенция, какова бы она ни была по паспорту.

– В этом, конечно, большая доля правды, но интеллигенция была бы бессильна без мощи торгово-промышленного капитала. Он ее поддерживает и выдвигает. Да он с ней и сливается. Вот ты мечтаешь о биологическом институте в Москве. Я чрезвычайно этому сочувствую и сделаю все для осуществления этого дела. Но кто даст деньги? Не правительство, оно не очень этим занято. Деньги дадут именно московские богачи и без всякой для себя выгоды. Просто из любви к культуре и по сознанию общественного долга. Пора перестать судить о них по пьесам Островского или Сумбатова. Поверь мне, я ведь их знаю лучше, чем писатели: я с ними годами работаю. Между ними есть истинно культурные люди. Я ничего не идеализирую. Есть тут, как везде, и снобизм, и тщеславие, и соперничество купеческих династий, все это так. У бояр было местничество, в маленькой степени оно есть и у нынешних тузов, они твердо помнят, кто когда вышел в большие люди, просто Рюриковичи и Гедиминовичи! Но главное их соревнование теперь, к счастью, в культурных делах. Первые из всех, кажется, Морозовы. Ты о Савве Тимофеевиче слышал?

– Не только слышал, но даже хотел о нем с тобой поговорить.

– Ты думаешь, что именно к нему надо обратиться за деньгами для института? Это так. Я именно его имею в виду, по крайней мере для почина. Видишь ли, на него может подействовать большое общеизвестное имя. Уж он такой человек. На славу падок. Был необыкновенно увлечен Максимом Горьким... Ты как к нему относишься?

– К Горькому? Никак. Да я почти ничего из его шедевров не читал и читать не буду. Не удивляйся. Я не прочел и четверти произведений Гёте, не все прочел у Вирхова, у Клод-Бернара, так стану ли я тратить время на сокровища Горького?

– О нем и о Савве Морозове теперь больше всего и говорят у нас в Москве.

– Это делает Москве большую честь. Что ж, Люда находит, что Горький много выше Льва Толстого. Как же, ведь Горький – *наш*! Дальше она несет свою обычную ерунду о пролетариате и о классовой борьбе... Впрочем, я и к Толстому, которого ты боготворишь, отношусь довольно равнодушно. Читал недавно его письма. До того, как он «просветлел», кое-что было интересно, но с тех пор, как он стал ангелом добродетели, адская скука. А что он несет о науке! Уши вянут!

– Тебе, видно, чувство благоговения вообще не свойственно! Толстой – величайшая национальная гордость, а ты его ругаешь! Неужели тебе не совестно?

– Нет, не совестно... А как продается твоя брошюра «Промышленный потенциал Донецкого бассейна»?

– Да это и не брошюра, просто доклад, который я не так давно прочел и даже не соби-
рался печатать. Приятель-экономист без меня предложил издательству, где он сам печата-
ется. Недавно он мне с огорчением сказал, что продается неважно, – ответил Дмитрий Ана-
тольевич. «Едва ли один писатель очень огорчается оттого, что неважно продаются книги
другого писателя», – подумал Рейхель. Ласточкин немного помолчал. – Аркадий, можно с
тобой поговорить о твоих интимных делах?

– Пожалуйста.

– Скажу тебе правду, ни Таня, ни я не понимаем, почему вы с Людой до сих пор не
узаконили отношений. Ведь могут быть осложнения, особенно когда будут дети.

– Люда не хочет детей. И не хочет законного брака. Говорит, что она против вечных
отношений и отнюдь не уверена, что наши с ней отношения вечны.

– Не может быть!

– Так она говорит, и я с ней готов согласиться.

– Как странно! Но ведь ты ее любишь?

– Конечно, люблю, – сказал Рейхель холодно.

– Еще раз прости, что я об этом заговорил... Так возвращаюсь к Морозову. На него,
по-моему, подействовало бы имя Мечникова. Ведь ты с ним хорош?

– С Мечниковым? Да, я его знаю. Мы не одного направления в науке.

– Ого! Не одного направления? Так направления есть и в биологии? И у тебя уже есть
в ней направление? Это отлично. Но как ты думаешь, если б в Москве создан институт,
Мечников согласился ли бы вернуться в Россию и стать его главой?

– Не думаю. Он слишком связан с Парижем, с Пастеровским институтом. Впрочем,
я не знаю, – сказал Аркадий Васильевич, нахмурившись, старший кузен смотрел на него
с благодушным недоумением. «Неужели Аркаша надеется, что он сам в свои годы может
стать директором?»

– Ты мог бы быть его помощником или заведующим одним из отделений, – поспешно
сказал он.

– Дело не во мне. И я вообще в данном случае имел в виду не институт.

– Что же другое?

– Видишь ли, за границей известно, что Савва Морозов дает большие деньги и на поли-
тические дела...

– Действительно дает. Сколько с него перебрал на это Горький, и сказать тебе не могу.
Притом на политические дела разного направления. Конечно, в пределах левого лагеря, о
правых Морозов и слушать не стал бы. Он дает деньги и либералам, и социалистам всех
оттенков. Между нами говоря, я думаю, что он и не очень разбирается в политических вопро-
сах. Однако при чем же тут ты? Ведь ты политикой не интересуешься?

– Я совершенно не интересуюсь, но Люда, как тебе известно, интересуется. Она
социал-демократка. У них теперь идет борьба фракций. Скоро состоится какой-то съезд, и
Люда надеется, что во главе партии станет ее вождь, некий Ленин.

– Он не некий. Я о нем слышал. Говорят, выдающийся человек.

– Люда просто на него молится и всегда о нем рассказывает разные чудеса, мне и слу-
шать надоело. Ты, впрочем, и сам сочувствуешь социалистам. Так вот, Люда тебя просит: не
мог ли бы ты посодействовать тому, чтобы этот Савва дал партии деньги?

– Да он и так дает. Говорят, через какого-то Красина.

– И о нем слышал от Люды. Тоже, кажется, процветающий социалист?

– «Тоже» относится ко мне? Не протестуй, я не обижаюсь. Да, я признаю, что в учении
социалистов есть немалая доля правды. Я и сам, случается, даю им деньги. Знаю, что в этом
есть доля смешного. «В Европе сапожник, чтоб барином стать, – Бунтует, понятное дело. –
У нас революцию сделала знать, – В сапожники, что ль, захотела». Ты скажешь, какая же

мы знать? И ты будешь прав. Твой отец был аптекарем, а мой бухгалтером. Вот и еще довод, чтобы помогать нуждающимся людям. Я как могу и помогаю, – сказал Ласточкин и немного смутился, вспомнив, что помогает и своему собеседнику. – Но я дал себе слово, что Таня и я не умрем бедняками. Мне повезло, теперь, пожалуй, я и сам вхожу в «первенствующее сословие». Правда, социалисты именно хотят все у нас отнять, но...

– Не у «нас»: у меня ничего нет.

– Но шансов у них на это немного. В их партию, конечно, я не пойду, хотя бы потому, что во многом с ними расхожусь, и потому, что это не мое призвание. Я здесь читал их газетки без малейшего восторга. Уж если мы с тобой об этом разговорились, то добавлю, что как люди, просто как люди, они в большинстве мне не симпатичны. Это не только мое наблюдение. Ты знаешь, как умна Таня. Она моя жена, я могу быть к ней пристрастен, но я говорю искренно. Она и умом, и своей «добротой по убеждению» – не знаю, как определить эту ее черту иначе, – замечает очень, очень многое.

– Она прекрасная женщина.

– «Прекрасная женщина», – повторил Ласточкин, видимо недовольный таким определением. – Таких женщин мало на свете. Я всем обязан ей. («Чем это?» – подумал Рейхель.) Не говорю о мелочах. Мы когда-то жили на тысячу рублей в год, теперь проживаем около сорока тысяч, и хоть бы что в ней изменилось! Но во всем, во всем она постоянно меня изумляет, особенно своим простым, разумным подходом к жизни, тонкостью и «незаметностью» своих суждений о людях. Если есть женщина, совершенно не желающая ничем «блестеть», то это именно она. Между тем, она умнее множества блестящих женщин.

– Не люблю «блестящих» людей вообще, а особенно блестящих женщин, с их утомительными разговорами, мнимым умом и сомнительными талантами.

– Ну, уж это слишком, – сказал с некоторым недоумением Дмитрий Анатольевич. – Мы почему заговорили о Тане?.. Да, так, видишь ли, мы теперь часто бываем в самых разных слоях общества. Зовут нас иногда в аристократические салоны, часто бываем и в обществе левых наших интеллигентов, настроенных почти революционно или даже вполне революционно. И Таня как-то мне сказала: «Разумеется, хорошие и плохие люди есть везде, это общее место, но мне кажется, что всего больше симпатичных, привлекательных людей теперь именно в среде либеральной русской буржуазии: она добра именно от своей удачливости».

– Ты однако только что говорил об ее снобизме и местничестве, – сказал Рейхель. «Ну, эта мысль Тани еще не так свидетельствует о тонкости ее ума! Митя в нее влюблен и теперь как в пору их женитьбы», – подумал он.

– Где этого нет? Есть и у левой интеллигенции. Все познается по сравнению. Буржуазия и жертвует больше, чем все другие. Разумеется, я хочу сказать, больше пропорционально.

– По-моему, ты себе несколько противоречишь.

– Может быть. Ты, кстати, видел ли людей, которые себе никогда не противоречили бы? Я что-то таких не знаю... «Кающиеся дворяне» у нас были, «кающиеся буржуа» есть сейчас, но кающихся революционеров как будто нет. Ах, как жаль, что Люда не приехала, – сказал он со вздохом, – я с ней поспорил бы. Разумеется, я не отказываюсь исполнить ее желание. Однако нельзя же просить Морозова сразу о двух вещах: и о биологическом институте, и о деньгах на социал-демократическую партию.

– Тогда, разумеется, проси об институте.

– Ясное дело. Но я не могу отказать Люде. Знаешь что, у Саввы Тимофеевича есть молодой племянник, некий Шмидт, уж не знаю, как в их ультрарусскую семью попал человек с немецкой фамилией. Этот Шмидт самый настоящий революционер. Я его знаю. Хороший человек. Он далеко не так богат, как Морозовы, но все-таки деньги у него большие, и

он их раздает щедро. Я с ним поговорю о просьбе Люды и думаю, что он мне не откажет... Странная семья эти Морозовы, особенно Савва Тимофеевич. У меня к нему, не знаю почему, очень большая симпатия, мне даже самому совестно: ведь, в конце концов, независимо от его достоинств, главная его сила в огромном богатстве. Если б он был беден, люди им интересовались бы неизмеримо меньше.

– Даже совсем не интересовались бы, – вставил Рейхель.

– Он очень странный человек. Вот ты упомянул о самоубийцах, – опять поморщившись, сказал Ласточкин. – Близкие к нему люди рассказывали мне, что самоубийство у него любимая тема разговора!

– У Морозова-то? Значит, он с жиру бесится.

– В нем есть потемкинское начало. Я где-то читал, будто князь Потемкин однажды за ужином сказал что-то вроде следующего: «Все у меня есть! Хотел иметь миллионы – имею! Хотел иметь великолепные дворцы – имею! Хотел иметь сильных мира у моих ног – имею! Все имею!» Сказал – и вдруг с яростью и с отчаяньем рванул со стола скатерть с драгоценной посудой, разбились фарфор и хрусталь! Так и Морозов имеет решительно все и, в отличие от Потемкина, от рождения. Должность князя Таврического была все же не синекура, – сказал с усмешкой Дмитрий Анатольевич, – а Савва Тимофеевич только дал себе труд родиться сыном, внуком, правнуком богачей. Ну, хорошо, бросим это... Скажи, а Люда не влопается в историю? Ты говоришь, съезд. На нем могут быть и секретные агенты полиции. Вдруг ее арестуют на границе, когда вы вернетесь в Россию, а? Стоит ли рисковать?

– Я ей все это говорил сто раз. Но Люда упряма как осел, – сказал Рейхель. Дмитрий Анатольевич поморщился.

– Правда, волка бояться – в лес не ходить. Но с твоей точки зрения, политика вообще ерунда, ведь так? Ты мне когда-то говорил, что единственное важное дело в жизни – это биология и что величайший в мире человек – Пастер.

– И правду говорил. То есть *настоящий* Пастер, а не католик с мистикой и метафизикой. А по-твоему, кто величайший?

– Не знаю. Но не беспокойся, я не отвечу: Савва Морозов, – весело сказал Ласточкин.

– И на том спасибо.

– Разве ответишь на такой вопрос в одной фразе?.. Недалеко отсюда есть площадь, с которой Сантос-Дюмон недавно совершил свой знаменитый полет. Он продержался в воздухе почти две минуты!

– Так он, что ли, великий человек? Это просто акробатия.

– Не говори! Это зародыш чего-то очень большого. Я читал его интервью. Он взял себе девиз из Камозэнса: «*Por mares nunca d'antes navigata*». Кажется, так? Я по части литературы швах, хотя стараюсь следить.

– Я и не стараюсь. А что это значит?

– «Плыть по морям, по которым никто еще никогда не плавал». Прекрасный девиз, так надо бы и всем нам, грешным.

Он заговорил о воздухоплавании с еще большим увлечением, чем прежде о хозяйственном росте России. Рейхель слушал теперь несколько недоверчиво.

– Если б я был очень богат, то попытался бы создать в России воздухоплавательную промышленность!

– Очень уж ты увлекаешься, Митя, – сказал Аркадий Васильевич. – А что, кстати, твоя пишущая машинка?

Ласточкин вздохнул. Он был по образованию инженер-механик и составлял в свободное время проект пишущей машины, с русским и латинским шрифтами, – первой русской пишущей машины, которой в честолюбивые минуты хотел дать свое имя.

– Подвигается, но уж очень медленно, у меня так мало времени, – ответил он и учтиво-холодно поклонился появившемуся на пороге кофейни очень элегантному, красивому человеку. Тот, чуть прищурившись, наклонил голову и, окинув кофейню взглядом, вышел.

– Кто это? – спросил Аркадий Васильевич. – Не сам ли принц монакский? Уж очень королевский вид.

– Не принц, но граф. Это австрийский дипломат, с которым мы познакомились в поезде, когда ехали сюда из Вены. И имя у него шикарное: граф Леопольд Берхтольд фон унд цу Унгарштитц. Очень высокомерный человек. Вся эта каста еще думает, что призвана править Европой. На самом деле прошло или проходит ее время, и слава Богу, – сказал Дмитрий Анатольевич. – А то она непременно довела бы Европу до войны. И не по злой воле, а просто по наследственному злокачественному легкомыслию.

– Ну, и у нас есть люди такого типа. Даже в интеллигенции. Почти все русские, которых я встречаю в Париже, германофобы. Между тем немецкая наука теперь первая в мире.

– Никакой войны больше не будет. Это было бы слишком чудовищно глупо.

– Да, может, потому и будет, что чудовищно глупо.

– Уж ты хватил! Я начисто отрицаю пессимизм и мизантропию. Они только мешают жить и работать.

– Мне нисколько не мешают, – возразил Рейхель.

IV

Этому человеку не везло в молодости. Он довольно долго жил в нищете. Социалисты в ту пору говорили и даже думали, что таков «принцип буржуазии»: не давать пролетариям возможности выходить в люди. Разумеется, никогда у правящих классов такого принципа не было. Во все времена они старались привлекать к себе отдельных способных людей из низов и позднее ими хвастали. И лишь чистой случайностью надо считать то, что очень небогатая, мало смысловая в политике буржуазия, мирно управлявшая делами в Довии, в Форли, в Предаппио, не обратила внимания на этого молодого человека. Вдобавок, семья его была хоть и крестьянская, но старая, жившая в этих местах столетия, а сам он был, при тяжелом и буйном характере, человек чрезвычайно способный, и ум у него был живой, и руки были золотые; он имел какой-то школьный диплом и уже тогда немного владел иностранными языками. Некоторые земляки считали его не совсем нормальным. В школе он был груб с товарищами, особенно с теми, у которых были состоятельные родители, вечно дрался, однажды пустил чернильницей в учителя. Учился же недурно: вышел первым по итальянской литературе и по музыке.

Девятнадцатилетним юношей он переселился в Лозанну. Его там считали политическим эмигрантом, но это было неверно. Получив на родине место школьного учителя, он скоро признал, что учить маленьких детей для него дело неподходящее; государство щедро оплачивало его труд 56 лирами в месяц; стоило попытаться в других странах; а ему вдобавок очень хотелось путешествовать, видеть новое, иметь приключения.

Однако в Швейцарии в первое время пришлось ему уж совсем туго. Он развозил по лавкам в тележке вино, работал, как полагалось, одиннадцать часов в сутки, получал по тридцать два сантима в час, порою ночевал в сорном ящике. Случалось, просил милостыню, стучал в окна и грубо требовал хлеба, — иногда и получал. Впоследствии сам рассказывал, что как-то, увидев в пустом саду двух закусывавших на скамейке английских туристок, насильно отобрал у них хлеб и сыр (может быть, и привирал).

Он находил время для чтения. Читал без разбора, но преимущественно серьезные книги: Ницше, Штирнера, Нордау, Кропоткина. Станным при его характере образом подпал под влияние чуть ли не каждого знаменитого автора. Прочел «Коммунистический Манифест» и объявил себя марксистом. Где-то раздобыл медаль с изображением Карла Маркса и всегда ее при себе носил. Впрочем, называл себя и анархистом. Скоро он стал встречаться с революционерами и с революционерками. Всегда нравился женщинам, даже до времени своей мировой славы. С одной не повезло.

Жить ему хотелось страстно, необычайно, много более жадно, чем хочет жить громадное большинство людей. И аппетит у него был волчий. Он часто останавливался у окон дорогих ресторанов, смотрел, как едят и пьют туристы, заглядывался на хорошо одетых дам. Говорил товарищам: «Как я ненавижу богачей! О, проклятая нищета! Сколько же времени мне еще придется все это терпеть!» По вечерам делал то, что полагалось делать настоящим эмигрантам, пока с годами им это не надоедало: посещал митинги, слушал заезжих ораторов, Жореса, Бебеля, Вандервельде. Они говорили дело и говорили хорошо, но ничего особенного в их ораторском таланте он не находил: сам мог бы сказать не хуже, да вопрос не в том, как говорить, а важно, кто говорит: одно дело, если знаменитый член парламента, а другое — если эмигрант в лохмотьях. У Жореса хоть голос был особенный, медный, громopodobный, а у других и этого не было. Расспрашивал о них. Многие социалисты вышли из настоящей богатой буржуазии: им было нетрудно выбраться в люди. Правда, Бебель будто бы был в молодости рабочим, но выдвинулся тогда, когда еще почти никакой конкуренции не было. «Ученые? Едва ли, разве только опять-таки Жорес, а Бебель и знает не больше, чем

я. Сыты, хорошо одеты, живут именно как буржуа. И только я один голодаю и не выхожу в люди!» – с все росшей ненавистью думал он.

Больше всего он ненавидел бы Бога, если б не знал с мальчишеских лет, что никакого Бога нет; ему объяснили старшие товарищи: об этом серьезно и говорить нельзя. Решил раз навсегда все объяснить всем. В Лозанну приехал из Рима для религиозной пропаганды, для диспутов с неверующими, пастор Талиателли. Такие диспуты происходили тогда нередко, особенно в Париже. Знаменитый анархист Себастиан Фор ездил по Франции с одной и той же лекцией: «Двенадцать доказательств того, что Бога не существует».

Фор был превосходный оратор, его лекции неизменно собирали огромную толпу, и возражать ему приходили ученые, красноречивые священники. В Лозанне же все было гораздо скромнее, публика состояла из простых людей, они спорить не умели, хотя, быть может, религиозными вопросами интересовались; часть их аплодировала священникам, часть безбожникам. В этот день, 7 сентября 1903 года, никто из оппонентов не пришел, и слушатели после лекции уже вставали с мест, когда кто-то из публики сказал:

– Я прошу слова!

И даже не сказал, а прокричал с такой силой и резкостью, что все насторожились; выходявшие люди остановились у дверей. На трибуну поднялся бледный человек в лохмотьях, с худым, изможденным лицом, с густой щетиной на щеках, с блестящими черными глазами, с выдающимся подбородком. Он был похож немного на Паганини, немного на Бонапарта и очень этим гордился. Его голова была бы интересна и Рембрандту, и Лафатеру.

– Меня здесь никто не знает, – громко, отчетливо сказал он, откинув назад голову. – Зовут меня Бенито Муссолини. Я итальянский эмигрант, чернорабочий. Я долго говорить не буду, скажу только несколько слов. Но для этого мне необходимы часы, а у меня часов нет, они мне не по карману. Не даст ли мне кто-либо свои?

Публика смотрела на него с недоумением, его действительно никто не знал. Слушатели не спешили исполнить его желание, – вдруг и не отдаст? Пастор с улыбкой протянул ему свои часы. Он поблагодарил.

– Теперь без пяти минут одиннадцать, – еще громче и отчетливее сказал он. – Я утверждаю, что никакого Бога нет! И приведу только одно доказательство. Даю вашему Богу, уважаемый пастор, пять минут времени. Если он существует, то пусть поразит меня за богохульство...

И, подняв глаза к потолку, обращаясь к Богу, прокричал грубую брань.

Публика молча с изумлением смотрела то на него, то на пастора.

– Как видите, нет Бога! – с торжеством сказал он через минуту. Знал, что пять минут ждать нельзя: пропадет эффект. Положил часы на стол и сошел с трибуны.

Эффект оказался большой. Пастор Талиателли взволнованно вызвал его на большой, серьезный диспут. Он принял вызов. Диспут действительно скоро состоялся. О Муссолини заговорили, публики пришло много, его речь против религии была напечатана каким-то издательством.

С той поры он особенно острой нужды не знал. Начал писать в революционных изданиях, они что-то платили, хотя и очень немного. Писал статьи богохульные и статьи политические об итальянских и русских делах. Когда царь должен был приехать с визитом в Италию, Муссолини напечатал статью о «зловещем палаче с берегов Невы». Много позднее, всего лет за десять до своего прихода к власти, написал восторженную статью об убийстве Столыпина и призывал к царевубийству. Выступал на маленьких собраниях, говорил о «социалистическом фагоцитозе», сходном с «фагоцитозом физиологическим», который открыл русский ученый Метцников (то есть Мечников). Получил от рабочих карточку на бесплатные обеды. Кое-какие гроши присылала из Италии мать. Таким образом мог жить, хотя и скудно.

Разумеется, вскоре после его смерти были, с оглаской на весь мир, напечатаны сенсационные документы, «неопровержимо доказывавшие», что Муссолини был в то время тайным агентом политической полиции. Так было, в силу комического «закона истории», и с другими диктаторами или полудиктаторами после их смерти (о Троцком это еще при его жизни доказывали два очень осведомленных – каждый по-своему – человека); только о Ленине этого не говорили и не писали: уж слишком было бы глупо. На самом деле никогда Муссолини тайным агентом полиции не был. Напротив, очень рано, еще в Швейцарии, попал под надзор двух полиций.

Швейцарские власти скоро его выслали. Он был и польщен, и раздражен. «Выслали как бешеную собаку, чтобы не заразила», – позднее говорил он. Высылка на родину была для него опасна, хотя и не из-за политики: он в свое время не явился к отбыванию воинской повинности, был объявлен дезертиром и заочно приговорен к году тюрьмы. Но, как обычно во всех почти странах, действия полиции не отличались большой осмысленностью. Швейцарские жандармы грозно надели на Муссолини наручники и довели его до границы, там наручники сняли и строго-настрого приказали ему идти дальше. Он вернулся в Лозанну и «перешел на нелегальное положение». Впрочем, по случаю рождения наследника итальянского престола, дезертирство подпало под амнистию, и Муссолини вернулся на родину.

В Италии он отбыл воинскую повинность, опять был учителем, женился, писал революционные и кроважидные статьи. Написал и какой-то роман. Писал очень быстро, в четверть часа статью или главу романа. Имя теперь у него было, хотя еще и небольшое, – на митингах его иногда по ошибке называли «товарищ Муссолино». Он восхищался Маратом, но восхищался и Наполеоном. Часто повторял наполеоновские слова «Революция – это идея, доставшая для себя штыки». Эти слова он позднее выбрал девизом для своей газеты «Пополо д'Италия». Штыков у него пока не было, идея же была, впрочем, чужая и довольно распространенная. Он был членом социалистической партии.

Партийная аристократия его недолюбливала: «Способный человек, но мегаломан: все о себе!» Муссолини ее совершенно не выносил, как ненавидел и всех демократических правителей: везде, под видом народоправства, правят два десятка людей. Они делят между собой портфели, постоянно сменяют друг друга, ничем друг от друга не отличаются, все друг друга ненавидят и все между собой на «ты», как каторжники. Хоть были бы очень умны и способны! И этого нет! «Где им до меня!» – Действительно у него не так давно состоялся публичный диспут с самим Вандервельде. Оба умели и говорить и орать, оба знали цену аудитории. Спор был о религиозном вопросе. Вандервельде – почему-то с шуточками – защищал полную свободу всех религий. Муссолини – с поддельным, вероятно, бешенством – в самых ужасных, непечатных выражениях ругал Христа, апостолов и христианское учение. Голос у него был громче, чем у Вандервельде; еще больше было и напористости.

Он часто переезжал из одного города в другой. Случались с ним разные скандалы; в ту пору он еще пил вино, но пьяницей никогда не был. Питался капустой и редиской. Теперь обычно был бодр и жизнерадостен. Одевался уже лучше, отпустил себе черную бородку. Играл на скрипке, с ней расставался неохотно. Громко и с чувством декламировал на память стихи Кардуччи, особенно «дьявольские». Занимался атлетикой, развивал в себе физическую силу: очень полезна для политического деятеля.

Как-то он задержался в Милане. Возвращаясь под вечер домой, зашел в библиотеку и взял наудачу книгу Макиавелли. О нем много слышал и гордился тем, что этот знаменитый мыслитель был итальянец; правда, говорили о нем не только хорошее: «проповедовал коварство».

Книга потрясла его. В ней все было так ясно, так понятно, – как только ему самому все это не приходило в голову! «Да, да, люди неблагодарны, переменчивы, скрытны, трусливы и жадны. Все ставят себе одну цель: славу и богатство. И не достаточно ли взглянуть на лица

Бебеля или Вандервельде, чтобы понять: все они думают только о своей славе, а никак не о счастье человечества. Какой же вывод делал из всего этого гениальный итальянец, живший несколько веков тому назад и так верно понимавший людей?»

«Правитель должен заботиться о том, чтобы никогда у него не вырывалось хоть единое слово, не проникнутое указанными добродетелями. Глядя на него, слушая его, люди должны думать, что он так и дышит добротой, искренностью, гуманностью, честью, особенно же религией – это важнее всего другого. Ибо все видят, кем ты кажешься, и лишь немногие понимают, кто ты такой на самом деле, да и эти немногие не смеют восстать против мнения большинства. К тому же, в действиях людей, особенно правителей, – их к суду не привлечешь, – важен только результат. Вульгарную массу всегда обольщает видимость и дело, а вульгарная масса это и есть мир... Не должен умный правитель исполнять свои обещания, если исполнение ему вредно и если больше не существуют условия, при которых он эти обещания дал. Этот мой совет был бы без сомнения дурен, если б люди были хороши, но так как они дурны и так как сами они, конечно, не исполнили бы своих обещаний, то почему ты был бы обязан держать твое? К тому же, разве правитель не найдет всегда доводов, чтобы разукрасить неисполнение своих обещаний?.. Александр VI только и делал, что обманывал, ни о чем другом он и не думал и всегда имел для этого случай и возможность. Никогда не существовало другого человека, который с большей уверенностью говорил бы одну вещь, подкреплял бы ее большим числом клятв и был бы меньше им верен, чем он. Обман удавался ему всегда, ибо он в совершенстве знал это дело...»

«E ad mondo non e se non vulgo»¹⁴, – повторял он мысленно. Он плохо помнил, что именно делал папа Александр. «Кажется, убивал людей. Это ни к чему. Сам Макиавелли думал, что казней должно быть возможно меньше. Обман совершенно другое дело». Теперь жалел, что в Лозанне произнес богохульную речь. «Разумеется, Бога нет, но лучше говорить, что Бог существует, или молчать об этом. Правда, Карл Маркс поступал иначе, и он тоже был великий человек, хотя и не итальянец. Но он жил в другое время». Ему теперь казалось, что он нашел нечто общее в Марксе и в Макиавелли, не только в их характере, – оба, конечно, не любили людей, но и в их философском отношении к миру. Оба говорили о том, что есть, а не о том, чего бы им хотелось. Маркс говорил о борьбе между классами, а Макиавелли о борьбе между людьми. «И может быть, хозяином мира будет тот, кто их сумеет объединить...»

Его волнение все усиливалось. «Да как же люди, за исключением очень немногих, так лживо и лицемерно говорят об этой книге! Коварство? Какое глупое, комическое слово! Это самая настоящая правда жизни! В малом все это делают и либо старательно это скрывают, либо сами не замечают, что гораздо хуже! А если это делать в большом, то успех обеспечен. Теперь обеспечена моя карьера! И неправда, будто этот великий человек был пессимистом. Пессимисты – трусы, это ругательное слово, а он был гений. Ему не везло в жизни? Но это объясняется только тем, что он о своих идеях заботился больше, чем о себе. Да и разве ему не везло? Он своими идеями добился бессмертной славы, а я добьюсь ее своими делами. И это еще лучше: человек всегда важнее, чем его мысли. Теперь, пока, самый верный путь: социализм, революция. А там дальше будет видно».

Утром он рано вышел на прогулку, не сиделось дома. Хотел еще раз все обдумать, – при быстрой ходьбе многое и в мыслях становилось гораздо яснее. Погода была прекрасная, солнце и ветерок, – такая погода, при которой все кажется возможным и даже легким. Было воскресенье, искать работы не приходилось. Решил осмотреть Милан; знал его не слишком хорошо, а в своей стране, ему теперь казалось, надо знать все. У него было радостное сознание, что случилось нечто очень важное, меняющее его жизнь.

¹⁴ «Обратиться к миру не значит к толпе» (итал.).

«Да, это так, как я понял вчера, – думал он. – Я теперь вижу и ошибку Маркса. Он исходил из предположения, будто люди руководятся своими интересами. Отсюда и его классовая борьба. Она, конечно, есть, но очень большого значения не имеет... А еще какой-то француз, – кажется, Декарт? – в основу жизни клал разум. И оба они ошибались: люди руководятся не разумом и не интересами, а страстями и вековыми инстинктами. Надо пойти еще дальше, чем пошел Макиавелли. Да, надо раз навсегда понять, что человек ничего не смыслит, что он не может вести себя согласно требованиям разума, часто не понимает своих собственных интересов, еще чаще им не следует. Он думает сегодня одно, завтра противоположное, и ему тоже можно и нужно говорить сегодня одно, а завтра совершенно другое. Он даже и не заметит. Лишь бы только образованное дурачье ему не напоминало и не разъясняло, и уже по одному этому не следует давать свободу образованному дурачью. Свобода может быть только у больших людей, желающих прожить свою жизнь как следует. А это надо делать умеючи и осторожно, иначе сорвешься в самом начале и отправят в тюрьму или в каторжные работы, как того убийцу в русском романе. Он по глупости убил старушку для каких-то сотен лир. Да и этого он не сумел как следует сделать... Вот этот собор, это тоже сила и даже большая, хотя все-таки не очень большая. Зачем я тогда нес вздор пастору? Людей одинаково можно уверить и в том, что Бог есть, и в том, что Бога нет. А это надо делать в зависимости от многих обстоятельств», – думал он, проходя по Piazza del Duomo.

Церкви, музеи, все старое ему мало нравилось, картин существует слишком много, не запомнить даже имен художников, кроме самых знаменитых, да и те ни к чему. Все же он заглянул в Собор, все начинали с него осмотр города. Гид, показывавший его туристам, сообщил, что три окна – самые большие в мире. Это было приятно, но удовольствие уменьшалось от того, что они были работы какого-то французского мастера.

У Брера он увидел конную статую Наполеона I. Лошадь была уж очень пышная, таких не бывает, особенно в походах. А на лицо императора он смотрел с восхищением: тоже великий человек и во всяком случае по крови итальянец. Затем повернул назад, прошел мимо театра Скала, – чуть ли не самый знаменитый оперный театр в мире – итальянский. Ему не очень хотелось побывать на спектакле, но его раздражили цены на афише, – нельзя было бы пойти, хотя бы и хотелось. Вошел в галереи Виктора-Эммануила, и тут его раздражение перешло в бешенство, памятное ему по первым дням Лозанны. Хотелось купить все, – начать бы вот с этого костюма в 169 лир! Тогда с ним и в партийном комитете говорили бы иначе. У богатых людей – «*cupidi di guadagno*»¹⁵ – есть и фраки, и смокинги, и сюртуки!

Из галерей он направился в неисторические кварталы города. Новым, хозяйским взглядом замечал неустройство, грязь, неподстриженные кусты, потускневшую краску домов, беспорядок в движении трамваев. Вышел на Piazzale Loretto и почувствовал голод и усталость. Справа от Корсо Буэнос-Айрес была кофейня, но, очевидно, дорогая. Столики террасы были накрыты чистенькими скатертями, хорошо одетые люди пили и ели что-то необыкновенно вкусное. На висевшей у входа раскрашенной карте было блюдечко с мороженым разных цветов, с фруктами, с ягодами, с вафлями. Узнал, что это называется «*Coppa Ambrosiana*»¹⁶.

Теперь знал, что будет у него и Coppa Ambrosiana, и все другое. Но раздражение от этого не проходило. В дешевенькой лавочке он купил хлеба и кусок горгонцолы. Где-то присел на скамейке, позавтракал и осмотрелся как следует. Посредине площади – и даже не посредине, а как-то неровно – сбоку – была жалкая растительность, – а можно было бы тут устроить прекрасный садик. И дома тоже были несимметричные, грязно-желтых цветов, только бездарные люди могли выстроить такие здания. Один дом, на углу Корсо Буэнос-

¹⁵ «Жадных до прибыли» (итал.).

¹⁶ «Чаша с амброзией» (итал.).

Айрес, выходил на площадь стеной без окон, – дурачье! Около этого дома было странное строение все из железа с огромным крюком. Он долго на него смотрел, – зачем тут крюк? Солнце розовыми лучами освещало на доске афишу с надписью крупными печатными буквами: «Evitate rumori inutili»¹⁷.

Люда приехала в Брюссель 30 июня, в самый день открытия съезда. Рейхель дал ей на поездку полтора рубля. Она всегда очень ценила его щедрость и джентльменство в денежных делах. Знала, что у него у самого осталось мало; сначала говорила, что возьмет только сто, но согласилась: ей писали, что съезд может затянуться.

– Деньги, конечно, даром выброшены, вся твоя поездка совершенная ерунда, но бери полтора, – говорил Аркадий Васильевич. – А то можешь остаться без гроша, да еще в чужом городе. У всех товарищей, вместе взятых, впредь до социальной революции не найдется и ста рублей, да они тебе все равно и не дали бы.

– Отстань, нет мелких.

Опять был проделан ритуал проводов, и опять оба вздохнули с некоторым облегчением после отхода поезда. Все же на этот раз Люда на прощанье поцеловала Рейхеля почти с нежностью, чего с ней очень давно не было. Ей вдруг стало его жалко. «Бедный сухарь! Он не виноват, что такой. Но и я не виновата. Ох, тяжело с ним...» Ей все больше казалось, что скоро в ее жизни произойдет перемена.

Поезд пришел в Брюссель в первом часу, а съезд открывался в два. Времени для поисков гостиницы было мало. Люда остановилась в первой у вокзала, приличной и не слишком дорогой. Комната стоила всего три франка в день; внизу была общая гостиная, где можно было бы принимать людей. «Вдруг кто-нибудь зайдет». Она привела себя в порядок, надела другое платье, хорошее, но не самое лучшее. Не было времени и для завтрака, выпила только чашку кофе, съела сандвич. «И так опоздала! Обедать будем верно все вместе с Ильичом, с Мартовым, быть может, и с Плехановым. Наконец-то увижу и Плеханова!» – радостно подумала Люда. В Женеве она его не встречала: хотела было зайти познакомиться или, вернее, представиться, но ей сказали, что он, должно быть, ее не примет, к нему попасть не так легко, жена оберегает его покой.

Она не знала города, пришлось нанять извозчика, – «только на первый раз, потом буду пользоваться трамваем». Номер дома дала не тот, что значился в ее бумажке, а к нему близкий: «Неловко приезжать как барыня». Подошла к указанному номеру пешком и остановилась в недоумении: «Какой-то амбар! Не ошибка ли? Не может быть, чтоб съезд был в амбаре?» Слышала, что на социалистических конгрессах обычно вывешиваются у дверей красные флаги. Никаких флагов не было, но у открытых ворот висел лист бумаги с надписью чернилами по-русски. Наверху было написано «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», а в середине крупными неровными буквами «Съезд Российской Социал-Демократической Рабочей Партии». Прочла это с радостным волнением. Ворота были отворены, прохожие удивленно заглядывали в амбар, Люда тоже заглянула, увидела стол и стулья и нерешительно вошла. Недалеко от входа стоял знакомый: Кольцов. Лицо у него было торжественное. Он ласково с ней поздоровался.

– Добро пожаловать. Садитесь, где хотите. А то можете еще погулять. Съезд откроется с маленьким опозданием, – сказал он и тотчас обратился к кому-то другому. Ее окликнул знакомый голос.

– Людмила Ивановна! Как поживаете?

Она ахнула: Джембул.

– Как я рада! Где вы сидите? Можно подсесть к вам?

¹⁷ «Не шумите» (итал.).

– Разумеется, можно и должно. Но лучше выйдем пока в кулуары. Здесь очень душно.

– А где кулуары?

– Кулуары – это улица, – невозмутимо ответил он.

– Да, странное помещение! Ах, как я рада, что встретила вас! Конечно, выйдем.

На улице они весело поболтали.

– Получили совещательный голос, Джамбул?

– Нет никакого, даже самого тоненького, голоска. Я «гость». То есть Ильич мне сказал, что я могу приехать, я и приехал. Если выгонят, то я зарыдаю и уеду.

Люда расхохоталась.

– Представьте, я в таком же положении! Ильич давно обещал мне устроить совещательный, но, верно, забыл. А разве могут выгнать?

– Чего на свете не бывает. Едва ли. А то мы потребуем с вашего Ильича возмещения убытков... Вот он, Ильич. Я его уже видел.

Из амбара в «кулуары» выбежал Ленин. Люда радостно ему улыбнулась. Он приветливо с ней поздоровался, но по рассеянности назвал ее Людмилой Степановной. Это чуть ее резнуло, особенно потому, что слышал Джамбул. Ленин пробежал дальше, кого-то отвел в сторону и заговорил с ним.

– Кажется, съезд начнется с опозданием?

– Да, уже три четверти третьего, – сказал Джамбул. – Когда начнется, это неважно, а вот когда кончится сегодняшнее заседание? Я тороплюсь.

– Это досадно. Я думала, пообедаем вместе.

– Я взял комнату с пансионом. Там обедают в шесть. Но главное, до того надо осмотреть Sainte Gudule.

– Какую еще Sainte Gudule? Это церковь?

– Знаменитая. Впрочем, лучше пойду в воскресенье утром. На меня всегда сильно действует богослужение.

– Это неожиданно.

– У них орган, говорят, один из лучших в мире. Церковь очень историческая. Кажется, одиннадцатого столетия.

– Нельзя по-русски сказать «очень историческая».

– Я не русский. И, к сожалению, в Турции немного отвык от русского языка.

– Разве вы были в Турции?

– Был довольно долго, у отца.

– Ваш отец живет в Турции?

– Давным-давно. У него там усадьба. Я его очень люблю, и он меня любит. При отъезде дал мне много денег и подарил вот эту штуку. – Джамбул вынул массивные золотые часы, надавил пуговку, крышка отскочила. На его лице выразилась наивная, простодушная, почти детская радость. Он поднес часы к уху, послушал и положил их назад в жилетный карман, опять с удовольствием щелкнув крышкой. – Идут не минута в минуту, а секунда в секунду. Отец когда-то купил в Константинополе. Это Брегет... Помните у Пушкина? «Пока недремлющий Брегет – Не прозвонит ему обед».

– Кажется, сейчас начинаем! Люди входят.

– Да, приехал наш именитый председатель.

С извозничьих дрожек сходил человек в сюртуке. Люда тотчас его узнала: Плеханов! К нему на улицу поспешно вышел Кольцов. Плеханов довольно холодно с ним поздоровался и неторопливо направился к воротам. Люди ему кланялись. Джамбул отвернулся.

– У него интересное лицо! И выправка почти военная. Я сама из военной семьи и замечаю.

– Не люблю его. Теоретиков вообще не люблю. Ленин гораздо лучше, хотя и он тоже теоретик.

Раздался звонок. Они вошли в амбар. Плеханов со скрещенными руками стоял за столом. Рядом с ним сидел стенографист. Около стола Кольцов радостно-торжественно звонил в колокольчик.

Когда все заняли места, Плеханов объявил съезд открытым и сказал краткое приветственное слово, – сказал, как всегда, хорошо. Очень повысив голос, произнес: «Каждый из нас может воскликнуть и, может быть, не раз восклицал словами рыцаря-гуманиста: «Весело жить в такое время!» Эти слова были покрыты рукоплесканиями, впрочем не очень бурными, не «переходившими в овацию». Часть собравшихся в амбаре делегатов вообще не аплодировала, и вид у них был довольно угрюмый. Аплодировал Ленин и еще сильнее Люда, иногда на него поглядывавшая.

– А вот я ни разу не восклицал словами рыцаря-гуманиста и даже отроду не слышал о них, – сказал шепотом Люде Джамбул. – А вы слышали?

– Во всяком случае я всегда думала именно это!

– А отчего собственно нам должно быть так весело? Как будто ничего особенно радостного для нас в мире не происходит?

– Будьте спокойны, произойдет.

– Что же именно?

– Вы отлично знаете, что именно: революция. И, пожалуйста, бросьте ваш скептицизм. Если вы скептик, то не надо было сюда приезжать и вообще соваться в революцию. Прекрасно говорил Плеханов, с очень большим подъемом.

– Не люблю, когда говорят с подъемом. По-моему, это актерская игра. Вот Ленин говорит без подъема.

– Не всегда.

– А сейчас с подъемом прочтет доклад о проверке мандатов Гинзбург, он же Кольцов. Этот едва ли устроит революцию, а?

– Зато Ильич устроит!

– Уж если кто, то действительно он. Но вы дружески посоветовали бы ему поторопиться. Я не желаю долго ждать. Как вы думаете, нельзя ли теперь опять уйти в кулуары?.. Что вы смотрите на меня с негодованием, точно я вам сделал постыдное предложение?..

– Я не знала, что вы такой весельчак, Джамбул. Пожалуйста, не мешайте слушать.

– Молчу, молчу. Больше не скажу ни слова до пяти часов. В пять я испарюсь. Кажется, так говорят: «испарюсь»?

Плеханов действительно был избран председателем *par acclamation*¹⁸. Но угрюмая часть зала опять восторга не проявила. Люде было обидно, что Ильич избран лишь вице-председателем, притом одним из двух, с каким-то совершенно неизвестным ей делегатом. «Нет, это естественно: Плеханов много старше, он был основателем партии».

После длинного доклада о проверке мандатов Джамбул посмотрел на часы.

– Хотите испариться вместе со мной? – тихо спросил он.

– Нет, не хочу!

– Дальше сегодня будет такая же веселая материя. Шашки джигиты выхватят позднее, и пойдет кровавый бой.

– Почему вы знаете?

¹⁸ Без голосования (*франц.*).

– Я уже все знаю, расспрашивал кое-кого еще вчера вечером. И знаете, кто будет общим *bête noire*?¹⁹ Вот этот делегат, видите, сидит впереди с краю. Это бундовец, кажется, его зовут Либер или как-то так. По-моему, очень тихенький человечек, совсем его громить не надо. Да еще вон тот, какой-то Акимов, он не бундовец и даже не еврей. Им обоим эти звери Плеханов и Ленин хотят сообща устроить погром, при благосклонном участии своих лютых врагов Мартова и Троцкого... А вы будете выступать?

– Я об этом не думала!.. Разве гости имеют право?

– А вы выступите без права. Ну, Гинзбург вас выведет за волосы, что за беда? Осмотрите по крайней мере Брюссель.

– Да перестаньте вы шутить, Джамбул... Я вас так называю, потому что не знаю вашего имени-отчества.

– У меня нет имени-отчества или оно такое мудреное, что вы и не повторите. Но если вы меня смеете называть Джамбул, то я вас буду называть Люда.

– Неужели вы действительно уйдете до конца?

– Я на все способен! Вы меня еще не знаете. Я способен даже на это!

– Сегодня, верно, будет общий товарищеский обед.

– Такая буйная оргия действительно возможна. От такого отчаянного сорванца, как Гинзбург, все станется! А где вы завтра завтракаете? Хотите, позавтракаем вместе?

– Пожалуй... Да ведь вы в пансионе?

– Готов для вас пожертвовать пятью франками.

Хотя они говорили тихо, на них с неудовольствием оглядывались соседи. Джамбул приложил палец к губе и скользнул к выходу. «Очень он милый. И остроумный», – подумала Люда. Она стала внимательно слушать.

¹⁹ Объект нападок (*франц.*).

VI

Бельгийская полиция чинила всякие затруднения съезду и даже, как писал не очень ясно один из видных социал-демократов, «приняла свои меры». Скоро было решено перенести съезд в Лондон, несмотря на лишние расходы и на потерю времени. Это еще усилило общую нервность и раздражение. Отправились из Бельгии в Англию не все вместе; да и бывшие на одном пароходе избегали разговоров друг с другом или старались не говорить о партийных делах.

В Лондоне, напротив, полиция делегатам не препятствовала, лишь приставила к помещению городского на случай, если бы был нарушен порядок. Впрочем, он на улице не нарушался. Только мальчишки с радостными криками ходили по пятам за особенно живописными «проклятыми иностранцами».

Съезд длился долго и прошел очень бурно. Социал-демократы разделились на две фракции. Одни назвались «большевистами», другие «меньшевистами» (несколько позднее стали говорить о «большевиках» и «меньшевиках»). Но и революционерам в России эти обозначения были вначале не совсем ясны, тем более, что участники съезда, которые, с Лениным во главе, получили большинство голосов по важному вопросу о редакции «Искры», остались в меньшинстве по столь же важному делу об уставе. Вдобавок, соотношение сил, то есть голосов, скоро после съезда изменилось. Предпочитали говорить о ленинцах и мартовцах. Очень многие всю ответственность за раскол возлагали на Ленина. «На втором съезде российской социал-демократии этот человек со свойственными ему энергией и талантом сыграл роль партийного дезорганизатора», – писал вскоре после того Троцкий.

Протоколы Второго съезда были опубликованы в Женеве. Вероятно, они были очень смягчены. Одну речь Ленина авторы сочли возможным воспроизвести лишь с некоторым сокращением. Во всяком случае, того, что обычно называется «атмосферой», протоколы не передают, да это и не входило в задачу авторов. Правда, в скобках иногда отмечались: «всеобщее движение», «протесты» и даже «угрожающие крики». На одном из заседаний сам Ленин попросил секретаря занести в протокол, сколько раз его речь прерывали. Другой делегат просил отметить, что «товарищ Мартов улыбался». На 27-м заседании съезд покинули бундовцы, на 28-м – акимовцы. Страсти все раскалялись. «Они» (меньшевики) все еще руководятся больше всего тем, как оскорбительно то-то и то-то на съезде вышло, до чего бешено держал себя Ленин. «Было дело, слов нет», – говорил в частном письме Ленин тремя месяцами позднее.

Он выступал с речами, заявлениями, оговорками, поправками сто тридцать раз. По некоторым вопросам терпел поражения, и от этого его бешенство еще усиливалось. Но главная цель была достигнута: для устройства революции создалась его фракция, которая должна была со временем превратиться в его партию.

Никто на Западе на это событие не обратил ни малейшего внимания: оно было газетам совершенно не интересно. Вследствие стечения бесчисленных случайностей событие стало историческим – в гораздо большей степени, чем все то, о чем тогда писали газеты. Могло и не стать. Разумеется, и сам Ленин не предвидел всех неисчислимых последствий своего дела. Как ни странно, был как будто немного смущен партийным расколом. Другие предвидели очень мало; некоторые прямо говорили, что ничего не понимают в причинах раскола, и переживали его как душевную драму: разочаровались в Ленине, скорбели о партии.

Люда не пропустила ни одного заседания. Вначале не все понимала, потом освоилась и волновалась с каждым днем больше. Страстно аплодировала Ленину, восхищалась его ораторским талантом. Действительно, он был *настоящим* оратором: достигал речами своей

цели. Троцкий ей не понравился, хотя она «восклицания» вообще любила. При его столкновении с Либером Джамбул, сидевший рядом с ней, шепнул: «Сцепились нервные евреи».

Джамбул, к ее огорчению, бывал в Брюсселе на заседаниях не часто. Говорил о съезде по-прежнему иронически, да и действительно часто недоумевал:

– Главный бой ожидается об уставе. Ради Бога объясните, если понимаете, в чем я, Впрочем, сомневаюсь: не все ли равно, будет ли там «личное участие» или «личное содействие», зачем они только по-пустому ссорятся? – спрашивал он Люду.

– Неужели вы не видите? Это имеет огромное значение, – отвечала она, хотя и сама не совсем понимала, почему этот вопрос так важен. – Но еще важнее то, чтобы Ильич ужился с Плехановым.

– Пусть их обоих называют «великими государями», как царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Впрочем, те отчасти именно из-за этого рассорились... Обожаю историю, особенно русскую и восточную.

– История интересна только в освещении экономического материализма. Да вы верно ее не знаете, Джамбул.

– Плохо. Но зато больше ничего не знаю, как, Впрочем, и вы.

Разговор с Джамбулом, часто по форме грубоватый, развлекал Люду и нравился ей. Без него на съезде было бы скучно, тем более что ни с кем другим из участников съезда она близко не познакомилась.

Люда условилась с Джамбулом ехать в Англию вместе. На пароходе они сидели рядом на палубе. Немного боялась, что заболит, но море было совершенно спокойно.

– ...Вот видите, и вы решили пробыть на съезде до конца. Я ни минуты в этом и не сомневалась, – сказала Люда.

– Еду больше для того, чтобы увидеть Англию. Давно хотел.

– Неправда, не только для этого. Что вы вообще делали бы в жизни, если б не занимались революционной деятельностью?

– А правда, что я тогда делал бы? – спросил он простодушно, точно впервые задавая себе этот вопрос. – Но какая же на вашем съезде революционная деятельность?

– То есть как «какая»? Самая настоящая.

– Даже не похоже, – сказал он, засмеявшись. – Один Ленин настоящий человек. А все остальные – Деларю.

– Что за Деларю?

– Разве вы не помните? Это запрещенная баллада Алексея Толстого. Ужасно смешно. Вот вчера напали и слева и справа на того бедного бундиста, а он только приятно улыбался на обе стороны. Совсем Деларю:

«Тут в левый бок ему кинжал ужасный
Злодей вогнал,
А Деларю сказал: «Какой прекрасный
У вас кинжал».
Тогда злодей, к нему зашедши справа,
Его пронзил.
А Деларю с улыбкою лукавой
Лишь погрозил.
Истыкал тут злодей ему, пронзая,
Все телеса,
А Деларю: «Прошу на чашку чая
К нам в три часа»...

Он читал забавно, с выразительной комической мимикой. Люда смеялась.

– Баллада остроумная, но при чем тут съезд? Сами же вы говорили, что мы на съезде слишком много ругаем друг друга.

– Да дело не в ваших отношениях друг с другом. Но вы и правительство приглашаете на чашку чаю в три часа. И вот, поверьте мне, это скоро кончится. На Кавказе уж наверное скоро не останется ни одного Деларю. – Лицо у него стало вдруг очень серьезным. – Пойдет совсем другая игра. Надеюсь, и у вас в России тоже.

– Какая же?

– Много будете знать, скоро состаритесь. Вот с Лениным я поговорю, если будет случай.

– А мне не скажете? – обиженно спросила она.

– Не скажу. Это не бабьего ума дело.

– Грубиян! Где вас учили? И какой вы социал-демократ, если вы против «баб»!

– Напротив, я в высшей степени за баб. И даже за их равноправие. Но против их участия в революции. У нас на Кавказе революционерок очень мало.

– Кавказ отсталая страна. А если же вы хотите поговорить с Ильичом наедине, то он верно назначит вам свидание только после окончания съезда. Теперь у него более важные дела.

– Сколько же надо будет ждать до окончания этого несчастного съезда? По-моему, они перестанут здороваться уже через неделю, а недели через две-три произойдет раскол.

– Типун вам на язык! Подождем – увидим. Пока можете осматривать Лондон. Найдете и здесь разные Гюдюли, – сказала Люда. Он поморщился.

В Лондоне он стал бывать на заседаниях чаще. Страсти разгорались. Это его веселило. Ему нравилось бешенство Ленина в спорах, то, что у него лицо часто искажалось яростью: он точно готов был своими руками задушить противника. Но окружавшие Ленина, всегда голосовавшие с ним люди показались Джамбулу ничтожными. «Только с ним и можно здесь разговаривать о деле».

Накануне закрытия съезда он пригласил Люду во французский ресторан. Она приняла приглашение с радостью. «Жаль, что он не серьезный человек, а то я, чего доброго, в него влюбилась бы. Куда же он дел тех своих двух дам?»

Они много выпили и еще повеселели.

– Я «склонен к чувственному наслаждению пьянства», – как говорит кто-то у Пушкина. Мне случалось выпивать за вечер три, а то и четыре бутылки вина. У нас на Кавказе есть вековой обычай. Когда у князя рождается сын... Почему вы улыбаетесь, Люда?.. Ах, да, эти ваши вечные русские шуточки: «На Кавказе все князья»... «Если у кавказца есть сто баранов, то он князь», да?

– Вы тоже князь, Джамбул?

– Нет, хотя мой отец производит наш род чуть не от Полиоркета.

– Кто такой Полиоркет?

– Древний македонский принц. Один его потомок будто бы переселился на Кавказ и там принял ислам, очень хорошо сделал. Впрочем, в Македонии всегда было самое смешанное население, не только христианское: были осетины, сербы, болгары, цинцары, греки, евреи, цыгане.

– Не называть ли вас «Джамбул Полиоркетович»?

– Полиоркет был действительно герой. По-гречески его прозвище, кажется, значило: «Покоритель городов».

– Это хорошо: «покоритель городов». Вы тоже покоритель городов. И, верно, сердец?.. Я все стараюсь понять, что вы за человек, и пришла к выводу, что вы романтик революции!

– Я очень простой человек, – сказал Джамбул, довольный. – Вы и представить себе не можете, какой я простой! Первобытный... Вы английский язык знаете?

– Нет.

– Я тоже не знаю. Но знаю, как и вы, слово «хобби». У серьезных людей есть главное дело и есть «хобби», то есть дело второстепенное, развлечение. А вот я не серьезный человек. В моей жизни: политика и женщины, но что из них у меня «хобби», а что главное, ей-Богу, сам не знаю.

– Примем к сведению. Кстати, фиолетовый шрам у вас на лбу – это от главного или от хобби?

– Это не ваше дело, – ответил он, улыбаясь. Был вообще учтив, с дамами особенно, и употреблял грубоватые выражения как бы в кавычках: произносил их так ласково, что рассердиться было невозможно.

– Я заметила, что этот шрам у вас бледнеет и обесцвечивается, когда вы волнуетесь.

– Вы необыкновенно наблюдательны. Только я никогда не волнуюсь.

– Вот как?... Ну, хорошо, вы над всем насмехаетесь. Какие же ваши собственные идеи? Едва ли вы испытали сильное влияние Маркса?

– Действительно, едва ли, хотя бы уж потому, что я почти ничего его не читал.

– Так кто же оказал влияние на ваше мышление?

– На мое «мышление»? – переспросил он с комически-испуганной интонацией. – Я и не знал, что занимаюсь «мышлением». Кто оказал влияние? Дайте подумать... Руставели, «Тысяча и одна ночь», летописи царя Вахтанга Шестого, Майн-Рид, Купер, Лермонтов, балет, передвижники, гедонисты... Да, я гедонист.

– Какой еще гедонист! И что за каша!.. Но вы не кончили. Какой же на Кавказе вековой обычай?

– Когда у кавказца рождается сын, то отец закапывает в землю бочку лучшего вина. Ее выкапывают к совершеннолетию сына. Ах, какое вино! Какой аромат!.. Вот мы с вами здесь пьем бордо...

– И какое!

– Но где ему до кахетинского!

– На Кавказе ведь все «самое лучшее в мире», правда?

– Не говорю все, но очень многое. Начиная с природы. Мне на прославленные швейцарские виды просто смешно смотреть, так им далеко до наших. И люди у нас по общему правилу хорошие.

– Это правда. Я очень люблю кавказцев. Ильич тоже их любит.

– Будто? По-моему, никого не любит ваш Ильич.

– «Мой» Ильич? Значит, он не ваш?

– Я отдаю ему должное. Конечно, выдающийся человек и со временем станет совершенным типом революционера.

– Со временем?

– Возьмите, Робеспьер, Дантон, Марат были революционерами три-четыре года, а до того были черт знает кто. Ленин же будет им всю жизнь. По-моему, он уже теперь второй революционер в мире.

– Вот как! А кто первый?

– Первый: Драгутин.

– Какой «Драгутин»? Отроду о нем не слышала.

– Обычно он остается в тени, но о нем еще много будут говорить в мире. Больше, чем об Ильиче.

– Да кто он? Что он сделал?

– Между прочим, организовал недавно в Белграде убийство короля Александра. К несчастью, они заодно убили Драгу. Этого я им простить не могу. Женщин не убивают, хотя бы они были королевами. Но мы говорили не о Драгутине, а о Ленине. Все же он на этом нелепом съезде слишком ушел в мелочи.

– Да он шел от победы к победе!

– Разумеется, он может подарить Мартову халат. Когда турецкий султан в прежние времена брал крепость, он дарил побежденному противнику халат, вероятно, в насмешку. Только к чему эта победа? Что он теперь будет делать? Ленин, а не султан. Издавать журнальчики? Да и на это верно не хватит денег. Ваше правительство будет очень довольно:

«Он окунул со злобою безбожной
Кинжал свой в яд
И, к Деларю подкравшись осторожно,
Хватя друга в зад!
Тот на пол лег, не в силах, в страшных болях
На кресло сесть!
Меж тем злодей отнял на антресолях
У Дуни честь...»

– Очень похож Ленин на Деларю!

– Я отдаю ему должное. Конечно, он выдающийся человек. Но он еще не созрел.

Люда расхохоталась.

– Однако вы нахал порядочный! Ильич не созрел?

– Или, скорее, не созрело все движение в России. Я еще и не знаю, останусь ли социал-демократом.

– Вот тебе раз! Неужто пойдете к эсерам с их народнической жвачкой!

– Не сварить каши с русскими вообще. Кажется, так говорят: «не сварить каши»? Что я вам говорил? Ведь у вас произошел полный формальный раскол.

– Во-первых, это неправда, а во-вторых, не «у вас», а «у нас».

– Я нерусский, да и социал-демократ, повторяю, сомнительный.

Полного формального раскола не произошло. Но многие из участников съезда уже в самом деле не раскланивались, и общее настроение было подавленное. Плеханов произнес заключительное слово и поздравил всех с результатами работы.

– Он, должно быть, насмехается? – спросил Люду Джамбул.

– И не думает насмехаться! Работа все-таки дала большие результаты. Как-никак, теперь у нас есть и программа, и устав.

– Именно «как-никак». Вы примкнете к большевикам или к меньшевикам?

– Я иду за Ильичом. Но, вопреки вашему карканью, раскола нет и не будет. Сегодня все вместе едем на могилу Карла Маркса. На Хайгетское кладбище.

– Едем, – уныло согласился Джамбул. – Вы его читали?

– Многое.

– Знаю, что он был кладезем мудрости. А иногда думаю, что у нас люди были интереснее.

– Может быть, тот Кота Цинтсадзе, о котором вы рассказывали? – насмешливо спросила Люда. – Нельзя человеку серьезно называться «Котой».

– Ладно, ладно, – ответил Джамбул. Теперь несколько обиделся он, к большому удовольствию Люды. – А что мы будем делать на могиле? Петь «Интернационал»? Или служить

панихиду? Тогда пусть Троцкий наденет ермолку и плащ, евреи в синагогах всегда носят плащи.

– Вы бывали и в синагогах?

– Бывал. Я вам говорил, что на меня действует всякое богослужение, особенно если оно древнее. Разумеется, наше мусульманское самое лучшее.

– В этом я ни минуты не сомневалась... Будете делать на могиле Маркса то же, что другие.

– Буду смотреть на Троцкого и повторять его благородные жесты. Я уверен, что и он, и Плеханов в Париже ходили в театр смотреть Мунэ-Сюлли. Только у того жесты выходят лучше.

VII

Иоганнес Росмер, владелец Росмерсгольма, был несчастен в своей семейной жизни и не очень счастлив в жизни общественной. По рождению он принадлежал к баловням судьбы, но он потерял веру в общественные устои. Как говорил консервативный ректор Кролль, «Росмерсгольм с незапамятных времен был своего рода священным очагом, поддерживавшим порядок, закон, уважение ко всему, что установлено и признано лучшими членами общества». Росмер порвал с традицией предков, это и было одной из главных причин его несчастной жизни.

«Росмерсгольм», с его символом белых коней, был любимым произведением Морозова, но кое-что он читал не без досады. Много в жизни Росмера совпадало с его собственной жизнью, однако не все. «Верил ли я в традиции моих предков? Когда же я с ними порвал? Каковы мои «белые кони»? Даже внешняя обстановка не очень похожа». Драма Ибсена разыгрывалась в родовой усадьбе Иоганнеса, в гостиной, обставленной в старом норвежском стиле, с портретами предков на стенах. Пять поколений предков, создателей огромного богатства Морозовых, были и у Саввы Тимофеевича, но он их портретов у себя на стены не вешал.

Дом на Спиридоновке был построен талантливым архитектором на месте родового дома Аксаковых. Обстановка была не только более роскошной, но и более «стильной», чем могла быть у прежних владельцев усадьбы или у Росмеров: Морозов купил ее у какого-то лорда и перевез из Англии в Москву. Люди, этого не знавшие, насмехались над ее «аляповатостью». «Конечно, не насмехались бы, если б я был князь или граф». Громадное большинство людей, и парвеню, и аристократы, ничего в искусстве не понимают. «Да, дураки верно говорят «купчик». Сам Чехов насмеялся над моим «безвкусием», над фрачными лакеями. Добрые люди так мне рассказывали. Может, и ввали. Точно дело во фраках! Все мы живем угнетением других людей, и Чехов тоже, и сам это отлично понимает, он умнее и Немировича, и Максима. Да и он о моем безвкусице не говорил бы, если б я был князь. Впрочем, и в самом деле, незачем было покупать мебель английского аристократа», – думал Савва Тимофеевич, с досадой оглядывая свой кабинет. «Это, тот говорил, подлинный Ризнер». А что он сам смыслил в Ризнерах? Верно и он в этой мебели чувствовал себя почти таким же чужим, как я? А я сюда точно попал по ошибке. «Спальная, сказал, «Victorian»²⁰. Слово значит немного: за царствование Виктории должно было смениться несколько стилей». Об архитектуре и мебели он немало прочел или просмотрел, когда строил свой дом. «Скоро девять часов, пора на завод. А то поехать раньше к грабителю?» – подумал он, разумея знаменитого врача.

В плохие минуты он находил, что все в мире продается, что, со своим огромным богатством, он может купить что и кого угодно – вопрос только в цене. При нем действительно наживались и перед ним лебезили очень многие. В другое же время Морозов признавал, что даже этих многих нельзя называть продажными в точном смысле слова: «*Настоящей* продажности в России, особенно в интеллигенции, мало: есть общественное мнение, есть моральная граница, через которую переходить почти невозможно и даже невыгодно... Просто не первого сорта людишки». По своей работе он постоянно встречал и людей первого сорта. Эти перед ним не лебезили и на нем не наживались; разве только когда отдавали ему свой труд, то получали несколько больше, чем их труд стоил. Впрочем, при всей своей щедрости, он бывал требователен и слишком уж переплачивать не любил. Если у него просили чересчур много, в нем пробуждались наследственные инстинкты дельца; его быстрые, бега-

²⁰ «В викторианском стиле» (англ.).

ющие и при этом многое замечающие глаза останавливались, он становился очень нелюбезен, даже иногда грубоват.

Как Ленин, Морозов вообще очень плохо верил людям, но, в полное отличие от Ленина, всего меньше верил в себя и себе. Всю жизнь будто бы стремился к освобождению России, но иногда думал, что в сущности освобождение России ему не так нужно: сам он был почти во всем совершенно свободен. Всю жизнь он говорил, что страстно любит искусство, но про себя сомневался – если не в своей любви к искусству, то в своем его понимании; природный ум заменял ему культуру. Сомневался и в том, что искусство хорошо понимают другие, в их числе и многие присяжные знатоки. «Ибсен хотел сказать...» А почему ты знаешь, что он хотел сказать? Может, и вообще ничего не хотел, а просто писал, как все писатели и писателишки, как Максим, который длинно и скучно мне говорил о глубоком смысле своего «Фомы Гордеева», между тем это чепуха с выдуманными и плохо выдуманными, неправдоподобными купцами...» Савве Тимофеевичу все больше казалось, что в нем сидит какой-то другой человек, за него говорящий и во многом ему совершенно чужой. «Все не так, все не так!» – неясно думал он в последние годы, знал только, что нервы у него совершенно издергались, что он, как будто без причины, боится воображаемых, даже неправдоподобных, несчастий, что в сущности он ничего особенно не хочет, что жить ему все тяжелее с каждым днем. «Жизнь не удалась... Впрочем, кому же она по-настоящему удалась, когда есть умирание, смерть?» Да еще он знал, что душой всегда, хоть не так уж напряженно, искал добра и смысла жизни; но добра нашел немного, а смысла жизни не нашел никакого.

К тому, что он обозначал словами «не так», он относил и Художественный общедоступный театр. Теперь этот театр существовал почти исключительно на его средства, он выстроил и новое здание в Камергерском переулке. Деньги дал по своей собственной инициативе, сам их первый предложил; давно стал в театре своим человеком, давал советы о пьесах, о подробностях постановки, о распределении ролей; все выслушивалось внимательно и с интересом; режиссеры и артисты успели оценить его чутье. Но про себя он иногда думал, что, например, Станиславский, состоятельный человек, мог бы и не получать жалованья, мог бы даже сам давать на дело свои деньги. Никогда этого не говорил, но думал, что артисты в большинстве гораздо менее образованные люди, чем он сам (он много читал и знал наизусть «Евгения Онегина»). «Пьесам Немировича грош цена, да и пьесы самого Максима немногим лучше».

Савва Тимофеевич в последний год болел, хотя как будто и не опасно. Был еще далеко не в том возрасте, когда чуть ли не главные мысли человека сосредоточиваются на починке разрушающегося понемногу тела. Врачей вообще не любил. Почти машинально называл их грабителями. Отлично знал, что они бедных часто лечат бесплатно и что было бы очень странно, если бы они брали мало денег с богачей. Свое нездоровье он приписывал в значительной степени расстройству нервов: неврастения усиливала болезнь, болезнь усиливала неврастению. Теперь ему нужно было повидать трех докторов по разным специальностям, и ни один из них к нему на дом приехать не мог; у всех в кабинетах были сложные приспособления, особенно у терапевта, который умел по новому способу просвечивать людей при помощи не так давно открытых Рентгеном лучей. «Видит тело насквозь. Хорошо, что хоть души не просвечивает».

Раз в неделю он ездил в Орехово-Зуевскую мануфактуру (в Москве ее называли несколько иначе, похоже и совершенно непристойно, но это относилось преимущественно к заводам Морозовых-«Викулычей»). Проводил там два дня, а то и три. В этот день ему уезжать не хотелось, был в особенно плохом настроении духа. «Хоть бы дождь пошел...» Савва Тимофеевич чувствовал себя бодрее в дурную погоду. В поезде он просмотрел газету, – скука. Подумал, что все редакторы газет, верно, либо циники, либо очень незлобивые, бла-

годушные люди: слишком много ерунды и пошлости каждый из них принимает и печатает, зная, что это ерунда и пошлость.

Постройки на его заводах, в отличие от других в городке, были новые, каменные, очень хорошие. Таковы были и дома, выстроенные им для рабочих с лекционными залами, с театром, – другие фабриканты только пожимали плечами, а иногда в разговорах о нем многозначительно постукивали пальцем по лбу. На улицах все ему кланялись. Это было и приятно и нет: «Все-таки кланяются больше моему богатству, чем мне. Если б у меня не было капиталов, кто бы я был? И люди перестали бы ко мне шляться, что было бы впрочем очень хорошо».

В сортировочной он взглянул на новую партию хлопка, она была не «fine», а только «good»²¹. «Что ж, для Азии и это необходимо». Ему очень хотелось, чтобы русская хлопчатобумажная промышленность вышла с четвертого места на первое; азиатский рынок имел огромное значение. Затем он побывал в других колоссальных зданиях. Общее благоустройство заводов, порядок, чистота доставляли ему удовлетворение. Рабочие кланялись почти-тельно-ласково; одни служащие спрашивали: «Как поживаете, Савва Тимофеевич?», другие: «Как изволите поживать?».

В одной из мастерских он остановился у машин, которые главный инженер предлагал заменить новейшими, хотя и эти были выписаны из Англии не очень давно. Он знал свое дело для владельца хорошо. Говорил, что «знает у себя каждый винт». Это было очень преувеличено; инженеры порою чуть улыбались, когда он спорил с ними о технических делах. Но названия машин и их назначение действительно были ему известны. Спросил о машинах и старших рабочих. Их мнение очень ценил. С ними он говорил ласково, почти как с равными и на их языке. Думал, что владеет им в совершенстве, как либеральные, да и не только либеральные, помещики думали, что в совершенстве владеют крестьянским языком. Рабочие любили и ценили его простоту в обращении, заботу об их интересах, то, что он к свадьбам дарит деньги, принимает на свой счет похороны, помогает вдовам; знали, что он женат на красавице «присусальщице», еще не так давно стоявшей за фабричным станком. Он первый ввел одиннадцатичасовой рабочий день; ввел бы, пожалуй, и десятичасовой, но знал, что тогда Никольская мануфактура едва ли выдержит конкуренцию с такими же огромными предприятиями, в частности с теми, что принадлежали Викулычам и Абрамычам.

В Москве издавна ходили шуточные преувеличенные рассказы о распрях между разными ветвями морозовской династии, впрочем, довольно обычных в больших семьях. К другим династиям, даже наиболее старым, тоже имевшим по несколько поколений богатства, к Бахрушиным, Рябушинским, Щукиным, Третьяковым, Найденовым Морозовы относились чуть свысока, хотя и рождались с ними; к новым же, вроде Второвых, относились и просто иронически.

После недолгого совещания с управляющим расчет инженера был признан правильным, и новые машины заказаны, хотя это означало большой расход: на машины Морозов денег не жалел; русская техника должна была сравняться с западной.

Затем он позавтракал в одной из столовых с главными служащими. Обед был не такой, как у него дома, – вместо его любимого рейнского вина пили калинкинское пиво, – но и не такой, как в других столовых фирмы. Везде все было чисто, свежо, сытно, однако администрация не могла не считаться с рангом обедавших. Так и он сам, при всем желании, не мог держать себя одинаково со всеми. В столовой тон разговора был демократический. Тем не менее все тотчас замолкали, когда владелец раскрывал рот. Он все время чувствовал неловкость, – точно играет, почти так же похоже, как Станиславский играл доктора Штокмана или Москвин царя Федора Иоанновича. Этих *своих* артистов он прежде особенно любил,

²¹ «Высшего качества», «хорошего» (англ.).

нередко угощал их ужинами, радовался их обществу, восхищался ими и думал, что уж очень, просто до удивления, они непохожи в частной жизни, один на царя, другой на норвежца. «Тем больше, конечно, их заслуга».

В столовой поговорили о политике, поругали правительство, коснулись и промышленных дел. Один из видных служащих говорил «смело, всю правду в глаза», – вроде как Яков Долгорукий Петру Великому. Савва Тимофеевич слушал со слабой улыбкой; думал, что и этот служащий играет, только у него свое амплуа.

Погода стала хуже. Морозов почувствовал прилив энергии и решил тотчас вернуться в Москву; на заводах было еще скучнее, чем дома, да в сущности и нечего было делать. Он понимал, что от его присутствия большой пользы нет, что мастерские работали бы точно так же, если б он их и не обходил. Сказал главному управляющему, что должен побывать у врача, но про себя решил, что сегодня ни к одному из врачей не пойдет: «Только наводят тоску, и все, конечно, запретят и никакой пользы не будет».

Со стены очень просто обставленного кабинета на правнука хмуро смотрел основатель династии, Савва Васильевич. Администрация давно заказала его портрет обладавшему воображением художнику. «Верно обо мне думает нехорошо: в кого ты, голубчик, пошел? От нас отстал, к другим не пристал. Черт тебя знает, что ты за человек!..» Морозову захотелось поскорее уехать. Он вспомнил, что по делу надо побывать у очень высокопоставленного лица. «К нему следовало бы надеть сюртук? Ничего, обойдется». Сунул в ящик письменного стола револьвер: к этому лицу являться с револьвером в кармане было неудобно.

Во дворце все было ему неприятно: пышность, мундиры, охрана; но все это производило и на него некоторое впечатление. Хотя он имел репутацию революционера, высшие власти (до 1905 года) были с ним любезны; не хотели связываться в истории с владельцем заводов, на которых были заняты десятки тысяч рабочих. По выражению лица у чиновника, взявшего его карточку, можно было увидеть: сила приехала к силе. Высокопоставленное лицо приняло его тотчас, не в очередь. С ним, как впрочем и со многими высокопоставленными людьми, Морозов говорил опять по-другому: старым, делано-купеческим языком, с обилием «слово-ериков», – ни один богатый купец в Москве давно так не говорил. В Риме старая знать, разные Гаэтани, Колонна, Орсини, да и сам король говорили между собой всегда на народном римском диалекте, но у них это выходило естественно; у Саввы Тимофеевича якобы купеческая речь звучала странно, и он сам не знал, означает ли его «слово-ерик» повышенное или пониженное уважение к собеседнику.

Высокопоставленное лицо тотчас исполнило его желание и лишь про себя подумало, что левому социальному реформатору не полагалось бы иметь дворец и ездить на кровных рысках. Впрочем, Савва Тимофеевич и сам часто думал о себе то же самое. «Умный все-таки монгол!» – сказала адъютанту высокое лицо. Морозов был и по крови чисто русский, но вид у него в самом деле был скорее монгольский. Сердцеведы недоброжелательно говорили, что он в делах готов раздавить человека, называли его глаза «хищническими» и «безжалостными», приписывали ему разные изречения, подходившие Сесилию Родсу или коммодору Вандербильту. В действительности, он никого не «давил», был в делах честен и никак не безжалостен. Напротив, был скорее добр, хотя и не любил людей, даже тех, кому щедро помогал.

Вернувшись домой, он переоделся: при осмотре машин чуть запачкал концы манжет. «Переоделся не до визита к нему, а после», – с некоторым удовольствием подумал Савва Тимофеевич. На Спиридоновке его в этот день еще не ждали. Жены и детей не было дома. В гардеробной костюм, белье, обувь не были приготовлены. Камердинер все принес с виноватым видом. «Виноват в том, что «барин» передумал и вернулся раньше, чем сказал».

Ему было совестно и перед прислугой, как перед рабочими и служащими на заводах. Но он сам себе отвечал, что с такими упреками совести можно спокойно прожить долгую

жизнь. Раздражали его и самые слова «гардеробная», «камердинер». Костюм у него был даже не от Мейстера, недорогой, и белье не голландского полотна, а простое: ему было не совсем ясно, почему одевается он дешево, тогда как дом, мебель, лошади стоят огромных денег. Но он не понимал в своей жизни и более важных вещей. Отпустил камердинера, одевался всегда без чужой помощи. Перекладывая вещи из одних брюк в другие, вспомнил, что револьвер остался на заводе. «Не забыть в следующий приезд». Не имел ни малейших оснований опасаться какого бы то ни было нападения, но револьвер под рукой всегда его успокаивал: что бы в жизни ни случилось, выход есть.

Савва Тимофеевич перешел в кабинет, сел в неудобное стильное кресло перед стильным письменным столом и открыл лежавшую на столе книгу Ибсена. Впрочем знал, что долго читать нельзя будет. С пятого часа начинали появляться посетители, приезжавшие к нему на дом не по коммерческим делам.

Обычно люди «хотели посоветоваться об одном общественном деле». Он давно к этой формуле привык; отлично знал, что посетителям, чаще всего очень известным людям, нужны никак не его советы, а его деньги. Отказывал редко, хотя и уменьшал суммы по сравнению с теми, которые назывались искавшими его совета людьми: понимал, что если всем будет давать, сколько просят, то от его огромного богатства с годами ничего не останется. Для себя эти люди почти никогда денег не просили и о себе даже не упоминали. Тем не менее, это часто выходило и «для себя»; говорили, например, о деньгах на совершенно необходимый обществу журнал, но не говорили, что будут получать в журнале жалованье или гонорар. Этим он обычно давал не слишком крупные суммы и пояснял иронически, что если они у других соберут «много больше-с», то и он от себя добавит сколько надо. Знал, что у других много больше никак не соберут.

Одним из посетителей был в этот день инженер Красин, с которым его познакомил Максим Горький, горячо его рекомендовавший. Этот инженер с первого же знакомства очень понравился Савве Тимофеевичу. Он и говорил прекрасно. Морозов вообще находил, что самые лучшие ораторы в России не адвокаты, – их он называл «краснобаями», а умные и образованные деловые люди, да еще офицеры генерального штаба. Красин просил денег в пользу левой группы социал-демократической партии. Он изложил ее взгляды, немного применяясь к психологии богатого промышленника, который, слава Богу, дает деньги на революцию. При первой встрече Красин в него всматривался с немалым интересом. Был искренний революционер, но так же искренне любил деньги. Хотел бы быть главой революционного правительства, но недурно было бы также стать королем промышленности. Он изучал богачей и для борьбы с ними, – как молодой Веллингтон ездил во Францию учиться у французов военному делу. Морозов слушал его внимательно, с легкой улыбкой.

– Так-с. Это я все знаю-с, – сказал он. Уже слышал о партийном расколе. – Это взгляды Ленина-с. Вполне с оными согласен. Зоркий человек-с. Извольте, дам, но много не дам-с.

– Сколько можете, хотя на вас мы очень надеемся, – ответил Красин, тоже несколько озадаченный сочетанием «слово-ерика» с осведомленностью в партийных делах, почти никому еще в Москве неизвестных.

– Дело обстоит так-с: дохода у меня в год шестьдесят тысяч целковых. Третью уходит на мелочи-с, на благотворительные дела-с. Третью трачу на себя, а двадцать тысяч готов ежегодно давать вам. Больше не могу-с.

Красин смотрел на него изумленно. Он не ожидал такой большой суммы, но не ожидал и того, что Морозов серьезно, глядя ему в глаза, будет говорить о шестидесяти тысячах своего дохода (причем из них сразу предложит третью часть). Москвичи говорили, быть может, преувеличивая, что одна Никольская мануфактура приносит в год несколько миллионов чистой прибыли. Впрочем, Савва Тимофеевич и не надеялся, что Красин ему поверит. Назвал эту цифру, сам не зная, почему.

Еще меньше он знал, зачем вообще дает деньги крайним революционерам. Назвал Ленина «зорким человеком», но никак не мог сочувствовать революционеру, которому, по слухам, не сочувствовало громадное большинство социалистов. Его собственное настроение было неопределенно левое и романтическое, как в «Росмерсгольме». Но, в отличие от Иоганнеса Росмера, он не слишком верил в близость счастья на земле.

Гость поблагодарил и с улыбкой немного поторговался. Сошлись на двух тысячах в месяц. Любезно поговорили и о другом. Разговор, не совсем случайно, коснулся электрического освещения. В Москве рассказывали, что это освещение составляет у Морозова пункт легкого умопомешательства. Он ведал им и в Художественном театре и в доме на Спиридоновке и в своих имениях: сам лазил по лесенкам, работал над проводами, переодевшись в рабочее платье (что ему шло, как Горькому косоворотка). Красин знал толк и в электричестве, говорил об его великом будущем так же увлекательно, как до того об идеях Ленина, вставлял разные «дифференциальные лампы Сименса», «вольты», «уатты» и даже «фарады». О вольтах и уаттах Савва Тимофеевич знал, но что такое фарады, совершенно не понимал. Несмотря на полученное им образование, ученые слова на него производили впечатление, как и на Максима Горького. Гость его очаровал. С тех пор Красин к нему ездил нередко и, перед тем как просить денег для партии, говорил об электрическом освещении и о новейших заграничных усовершенствованиях. Деньги получал неизменно.

Последним просителем был Дмитрий Ласточкин, в последнее время очень выдвинувшийся в деловом мире Москвы.

К нему Савва Тимофеевич относился тоже очень благожелательно и высоко его ставил: был на двух его докладах, прочел его брошюру о хозяйственном росте России. Понравилось ему и то, что Ласточкин не воспользовался принятой формулой и прямо с самого начала сказал: приехал просить денег.

— Это так-с, за иным ко мне, купчине, и не приезжают-с, — сказал, улыбаясь, Савва Тимофеевич. Ответная улыбка Ласточкина показала, что он оценил слово «купчина» и не считает нужным и возражать на такую шутку. Он изложил план создания биологического института в Москве. Морозов слушал внимательно и с интересом.

— Да ведь, кажется, что-то похожее у нас уже существует, — сказал он.

— Не совсем похожее, — ответил Дмитрий Анатольевич и с несколько меньшей ясностью изложил, в чем заключалось новое в его проекте. Рейхель писал ему из Парижа письма, однако подробной объяснительной записки не представил, хотя Ласточкин сам ставил ему сделанный Морозовым вопрос.

— Так-с. В какую сумму обошлось бы дело-с?

— Я знаю, что одному человеку, даже такому, как вы, Савва Тимофеевич, поднять это дело было бы трудно, но мы рассчитываем на ваш почин, зная...

«Зная вашу отзывчивость», — закончил про себя Морозов и перебил его:

— Смету привезли-с?

— Я ее представляю вам очень скоро, — ответил Ласточкин, с досадой подумав, что, вследствие халатности своего двоюродного брата, начал разговор не деловым образом. — Мы хотели сначала выяснить ваше общее, принципиальное отношение к вопросу.

— Кто это: мы-с?

— Этим делом очень интересуется также Мечников, — сказал нерешительно Дмитрий Анатольевич. — Знаете, Илья Ильич Мечников, наш знаменитый биолог, создатель теории фагоцитоза. — Морозов, к его облегчению, не попросил пояснений к слову «также» и одобительно кивнул головой.

— Знаю-с. Что-то и о фагоцитозе читал... Кажется, обещает нам продлить жизнь? Может, и врет-с, да и незачем человеку очень долго жить, — пошутил он. — Что ж, идея института интересная. Но без записки и сметы, вы сами понимаете, и говорить невозможно. Дело

не в сумме, поднять я и один мог бы-с. Клинический городок Морозовы подняли. А знать все надо в совершенной точности-с. – Ласточкину он не сказал о шестидесяти тысячах своего дохода: в разговоре с московским деловым человеком это было бы слишком глупо. – Представьте записку, прочту-с. И, разумеется, передам ученым людям на рассмотрение. Скорого ответа не ждите-с: эксперты спешить не любят.

Он подумал, что этот проситель, инженер по образованию, не может быть лично заинтересован в создании биологического института. Бывали все-таки и просители совершенно бескорыстные. Стал еще любезнее и, прекратив деловой разговор, – лишних слов не любил, – спросил о музыкальных вечерах, иногда устраивавшихся в доме Ласточкиных:

– Слышно, интересные вечера-с.

– Мы с женой оба очень любим музыку. Не приедете ли как-нибудь и вы, Савва Тимофеевич? – предложил Дмитрий Анатольевич. Посещение Морозова считалось в Москве большой честью, и поэтому Ласточкин пригласил его сдержанно: «Еще подумал бы, что зазываю».

– При случае охотно-с. Люблю и я, хотя и не большой знаток.

Ласточкин вспомнил о просьбе Люды, но решил ее пока не передавать: «Не сразу же лезть с двумя просьбами». Вдобавок, ему теперь показалось особенно глупым просить богача о деньгах на социальную революцию. Он взглянул на часы и простился. Был доволен первыми результатами своего ходатайства, не очень ему приятного. «Больше ничего Аркаша для начала и ожидать не мог бы, тем более, что записки не составил, сметы не прислал, а с Мечниковым, верно, еще и не поговорил!»

«Твое понимание мира облагораживает, Росмер. Но... но... Оно убивает счастье», – говорила Ребекка Вест. «Счастья у него было действительно немного. Как у меня», – думал Савва Тимофеевич. Ни его жена, ни его любовницы нисколько на Ребекку не походили, и никакой затравленной Беаты в его жизни не было. «Да и сам я все-таки какой же Росмер! Все-таки пьеса замечательная. По дрянному переводу и судить нельзя. Так и Гёте, и Шекспиром лживо восхищаются люди, не читавшие их в подлиннике. Если б я был немцем и прочел «Евгения Онегина» по-немецки, то сказал бы, «очень средняя поэма». А о Лермонтове тем более сказал бы. Какие это биографы ввали, будто Лермонтов «искал смерти». И о других поэтах говорят то же самое. Коли б в самом деле искали, то очень скоро нашли бы, дело нехитрое». В последний год он читал главным образом те литературные произведения, в которых были самоубийства. И ему по-прежнему было не вполне ясно, почему Росмер покончил с собой. «Может, просто по литературным соображениям автора-с, – подумал он, по инерции пользуясь «слово-ериком» и в мыслях. – Вот и Лев Николаевич по литературным соображениям в «Записках маркера» придумал самоубийство для Нехлюдова, а через много лет, когда понадобилось, его воскресил...» Толстого Савва Тимофеевич и мысленно называл по имени-отчеству. Горького в последнее время в разговорах со знакомыми сухо называл «Максимом» или «Алексеем», а то даже и «господином Горьким».

Часть вторая

I

В Западной Европе в 1903–1904 годах почти все еще было тихо и спокойно. Такие времена называются в истории «периодами процветания». Разумеется, процветало не все европейское население. Но и обездоленным людям в ту пору жилось лучше, чем когда бы то ни было прежде. Отношения же между главными государствами были либо превосходные, либо хорошие, либо – в худшем случае – корректные. Монархи обменивались визитами и во дворцах или на яхтах произносили дружеские, радостные, бодрые тосты. Министры очень вежливо отзывались в парламентских речах о политике других стран и даже в тех случаях, когда бывали ею не очень довольны, давали это понять лишь намеками и чрезвычайно осторожно: одно невежливое слово неизбежно вызвало бы очень серьезные неприятности.

Больших войн давно не было. Но скорее всего именно поэтому некоторые государственные люди уже начинали скучать. Разумных причин для войны не было, как их, впрочем, не было в истории почти никогда. Основной причиной возможного столкновения считалось в ученых книгах и в передовых статьях экономическое соперничество между Англией и Германией; в связи с ним газеты говорили, что Англия не может допустить увеличения германской экономической мощи и военного флота. За океаном быстро рос не такой соперник для обеих стран: скоро Соединенные Штаты своей промышленностью, богатством, могуществом далеко превзошли Англию и Германию вместе взятые. Однако о войне Европы с Америкой и позднее никто не говорил, кроме совершенных дураков. Такая война, просто по непривычке, не возникала в сознании политических деятелей, ученых экономистов и даже самых воинственных газетчиков. Вдобавок американские правители редко встречались и почти не соперничали с европейскими. И главное, они неизмеримо меньше интересовались тем, что по существу и определяло политику правителей Европы: злосчастной идеей *престижа*, наделавшей столько бед человечеству.

При всем законном желании «заглянуть в корень вещей» трудно найти хоть какую-либо общую идею или сколько-нибудь прочный интерес во внешней политике главных европейских держав того времени. В 1901 году Чемберлен предложил Германии заключить англо-германский военно-политический союз. Это предложение показалось немецкому министерству иностранных дел столь важным и заманчивым, что к Вильгельму, находившемуся тогда в Гамбурге, был специально послан с запросом граф Меттерних. Идея императору понравилась. Он искренне любил свою бабушку, королеву Викторию. Ее преемника Эдуарда VII, правда, недолюбливал, но его брата, герцога Коннаутского, любимого сына Виктории и хранителя ее традиций, считал в числе своих ближайших друзей. Император – и не он один среди монархов – признавал европейскую политику отчасти как бы семейным делом. Все же он задал вопрос: «Союз против кого?» Из Лондона пришел немедленно ответ: «Против России, так как она хочет овладеть Индией и Константинополем». Это объяснение, тоже больше по семейным обстоятельствам, понравилось императору меньше. Он велел ответить, что его связывает тесное родство с домом Романовых, личная дружба с царем и вековое братство по оружию с Россией. Таким образом из английского предложения ничего не вышло. Император в обществе своего друга Эйленбурга посетил в Мюнхене инкогнито известную гадалку и спросил ее, может ли он положиться на одного своего русского друга (разумел Николая II). Гадалка ответила, что вполне может. Это успокоило Вильгельма.

Его и много позднее (до выхода его воспоминаний) очень высоко ставили в мире. Незнакомые с ним люди часто писали о его необыкновенном уме, талантах, образовании.

Правда, фельдмаршал Вальдерзее говорил, что император почти ничего не читает и вообще почти не работает, а любит только охоту, церемонии и болтовню. Особенную рекламу ему делали его приближенные, страстно подкапывавшиеся друг под друга в борьбе за его милость. «Все они кусаются, дерутся, ненавидят и обманывают один другого. У меня все больше укрепляется чувство, что я живу в доме умалишенных», – писал один из них.

Какие именно умалишенные изменяли настроение и принципы Вильгельма, мы не знаем. Но ориентация германской внешней политики внезапно изменилась. Теперь канцлер Бюлов при личном свидании запросил короля Эдуарда, не согласилась ли бы Великобритания заключить с Германией военный союз. При английском дворе раболепства, грызни, гадалок, «дома умалишенных» не было, и политику делали преимущественно министры. Однако обиделось ли британское правительство за первый отказ или по другой, непонятной простому разуму, причине, на этот раз ответило отказом оно.

Английская политика, «строящаяся на долгие десятилетия вперед», тоже изменилась. Король ответил, что отношения между Англией и Германией превосходны, в мире все совершенно спокойно и что он в военном союзе никакой надобности не видит.

Несчастьем для Европы было и то, что почти все секретные и несекретные соглашения строились главным образом на взаимном обмане, причем каждое правительство обманывало и своих союзников. В 1907 году новый русский министр иностранных дел Извольский посетил Вену. Его осыпали знаками внимания, он был принят Францем-Иосифом, получил большой крест ордена св. Стефана и установил дружеские отношения с Эренталем. Извольский хотел добиться для русского черноморского флота прохода через проливы. После Крымской войны проливы были закрыты для военных судов всех стран. В течение полувека, особенно после Берлинского конгресса, в Петербурге были в общем довольны этим соглашением, защищавшим все русское черноморское побережье от возможного, в случае войны с Англией, нападения британского флота. Один из русских государственных людей говорил в 1897 году: «Нам нужен швейцар в турецкой ливрее, Дарданеллы ни в каком случае не должны быть открыты: Черное море – русское *mare clausum*»²². Затем то, что считалось выгодным преимуществом, было признано непереносимым злом.

Извольский хотел поднять престиж России, уменьшившийся после войны с Японией; о своем еще не создавшемся личном престиже он, разумеется, не говорил. Этот остроумный, раздражительный человек считал себя много выше других министров иностранных дел – позднее своего французского собрата называл «человеком универсальной некомпетентности», что, конечно, тому вскоре стало известным. В деле о проливах была очень заинтересована Австро-Венгрия, и он готов был дать ей «компенсацию»: соглашался на то, чтобы она присоединила к себе и формально Боснию и Герцеговину, фактически ею захваченных еще тридцать лет тому назад. Он желал бы, чтобы право прохода через проливы было предоставлено только русскому военному флоту, но в крайнем случае соглашался и на то, чтобы его получили все державы.

Эта мысль чрезвычайно понравилась барону Эренталю. Было устроено секретнейшее совещание. Граф Берхтольд предоставил для него свой великолепный замок в Моравии Бухлау. Никто другой приглашен не был. Совещание состоялось 15 сентября. Решено было не вести стенограммы: все по памяти запишет Извольский и представит Эренталю свою записку. Станным образом русский министр очень долго записки не представлял и, быть может, кое-что забыл. Так, по крайней мере, утверждал Эренталь. Не было записано и то, когда именно будет объявлено о присоединении Боснии-Герцеговины к Австро-Венгрии. Извольский узнал о нем на станции Мо из газет, подъезжая к Парижу, где его ждало письмо Эренталю. Из права прохода русских судов через проливы ничего не вышло. Он пришел в ярость

²² Внутреннее море (*лат.*).

и возненавидел Эренталья, которого с той поры считал и в письмах называл «неджентльменом». Вся дальнейшая его политика определялась ненавистью к Австрии.

Несколько меньше, чем Извольский, но все же были раздражены германское и итальянское правительства. С ними Эренталь не считал нужным предварительно посоветоваться, хотя они были союзниками. Так и несколько позднее при свидании царя с Виктором-Эммануилом в Ракониджи, Извольский и Титтони, заключая важное соглашение, тщательно скрывали его от своих союзников. Впрочем, через несколько дней после этого соглашения Титтони заключил другое, с Австро-Венгрией, прямо противоречившее первому и столь же тщательно скрытое от России.

Австрия со времен похода принца Евгения в начале восемнадцатого столетия считалась главным другом сербов, их защитницей от турок. При Обреновичах, несмотря на захват Боснии и Герцеговины, отношения между обеими странами были самые лучшие. Дело было впрочем не столько в последовавшей перемене сербской династии, сколько в том, что сербы из малого и слабого народа стали не столь малым и слабым. Как в разное время и другие государства, они теперь мечтали об объединении всех людей их национальности – предвидеть сталинское объединение не могли. И в 1908 году превращение неофициального захвата Австрией Боснии-Герцеговины в официальное присоединение, принесшее Эренталю графский титул, вызвало у сербов необычайное негодование.

Все это, как известно, позднее привело к сараевскому убийству, к мировой войне и к крушению монархии Габсбургов. Эренталь давно умер, с графским титулом и с сознанием своих великих исторических заслуг перед родиной. Через несколько лет и от его дела, если не считать прямо его делом катастрофическую войну и гибель Австро-Венгрии, не осталось ровно ничего. Тем не менее серьезные историки, и австрийские и иностранные, в своих трудах расточают похвалы его уму, талантам и даже гениальности. Он в известный исторический период стяжал себе весьма краткое «бессмертие» верной, по духу чисто спортивной, службой австрийскому престижу. В нем видели нового Меттерниха, это очень ему нравилось, и он не сердился на самые враждебные статьи, если только в них его сравнивали с Меттернихом. В общем, его настроение было приблизительно такое же, как у громадного большинства правителей Европы: войны, разумеется, не надо, но не будет большой беды, если война возникнет: ведь войны были всегда. Неизмеримо хуже было бы «Derogierung an Prestige»²³.

Жизнь при дворах везде была, хотя и не очень спокойная, но веселая и пышная. Вильгельм II все чаще переходил от одного настроения к другому. Он болел и порою думал, что болен опасно. Ему вырезали полип в горле. Император предполагал, что это не полип, а рак: от рака умерли его отец и мать. Относился к этому предположению мужественно. Иногда (вероятно, думая о смерти) он произносил миролюбивые речи, порою прекрасные, говорил, что войны никому не нужны; в частных беседах утверждал, что больше всего хотел бы сближения и тесной дружбы с Францией. К нему приезжали друзья из второстепенных французских политических деятелей. Один из них, Жюль Рош, обожал Гёте и всегда носил с собой экземпляр «Фауста». Это приводило императора в восторг. Были у него и русские и английские друзья, правда, не носившие «Фауста» в кармане, и их он тоже уверял, что только и желает общего мира. Уверял довольно искренне. Но нередко произносил воинственные, даже почти бешеные речи, вызывавшие панику в Европе, впрочем обычно недолгую. Сенсация, производившаяся каждым его выступлением, была большой радостью его жизни. Ему, однако, было далеко до некоторых позднейших диктаторов: этим было душевно необходимо, чтобы о них – дожил! мог ли прежде и мечтать! – говорил весь мир. Политикование уж

²³ «Падение престижа» (нем.).

совсем прочно стало важным отделом психиатрии, которому следовало дать обозначение: «комплекс Моссаде».

Этого у германского императора быть не могло. Как большинство государственных людей, Вильгельм II просто сам не знал, чего хочет. Он был живым доказательством того, что место красит человека гораздо чаще, чем человек красит место. Несмотря на некоторую его общую даровитость и на немалую способность к эффектам, к позам, к рекламе, никто в мире не обращал бы на него внимания, если б он не был германским императором.

Исключение среди государственных деятелей составлял Франц-Иосиф. Он слышать не хотел ни о какой войне. Однако все знали, что в Вене идет глухая борьба между императором и наследником престола, которого поддерживали важные австрийские сановники и генералы. Исход борьбы не мог быть предугадан; предполагалось, что исходом будет кончина престарелого императора. Многие думали и писали, что с ней вообще кончится империя Габсбургов.

Австро-Венгрия, приблизительно с 1906 года, оказалась главным центром европейской большой политики. В ее военном могуществе люди сомневались, в России ее называли «лоскутной империей», а на западе – «вторым больным человеком Европы» (первым издавна считалась Турция). Но «Балль Платц», «намерения Вены», «политика Эренталя», «военные замыслы эрцгерцога Франца-Фердинанда» заполняли телеграммы министров иностранных дел и послов, ежедневно упоминались в статьях главных газет Европы.

Главой военной партии в Австрии признавался наследник престола, эрцгерцог Франц-Фердинанд. Его почти все считали черным реакционером, ненавистником славян и сторонником войны – разумеется, «превентивной» – с Сербией и Россией. С этим, однако, вышла много позднее странная история. На полях доклада об его убийстве Вильгельм II написал собственноручно: «Эрцгерцог был лучшим другом России. Он хотел возродить Лигу Трех Императоров». Когда в Германии произошла революция, записи императора на докладах были напечатаны. Эти слова вызвали у историков недоумение. Вильгельм не имел основания лгать в таких записях и никак не мог предвидеть, что они со временем будут опубликованы. С эрцгерцогом он был связан тесной дружбой, часто с ним встречался и совещался наедине, должен был лучше, чем кто-либо другой, знать его самые тайные политические замыслы. Возник спор, не разрешенный окончательно и по сей день.

Еще значительно позднее появились в печати разные бумаги Франца-Фердинанда. Они как будто не оставляют сомнения в том, что никакой войны он не хотел, что в этом вопросе был совершенно согласен с Францем-Иосифом, с которым расходился чуть ли не во всем другом. Выяснилось также, что он стоял за дружбу и союз с Россией, видел в них оплот против революции, что он преклонялся перед самодержавными русскими императорами, что славян он очень любил – гораздо больше, чем венгров, – что хотел превратить двуединую монархию в триединую (с третьей, славянской частью) и обеспечить полное равноправие для всех своих будущих подданных. В его бумагах найден был даже проект манифеста, предусмотрительно им составленный на случай внезапной кончины Франца-Иосифа и провозглашавший коренные либеральные реформы в отношении национальных меньшинств. «Он был настоящим другом хорватов и сербов в Боснии», – пишет, как будто с некоторым недоумением, новейший английский историк, самый ученый из всех занимавшихся той эпохой. Ненавидел эрцгерцог только итальянцев, которым не прощал конца светской власти пап. «Один из самых загадочных людей нашего времени», – говорят теперь и некоторые другие историки. Слухи о том, будто у эрцгерцога были секретные соглашения с Вильгельмом о войне, оказались совершенной легендой. Особенно много зловещих рассказов ходило об их последнем свидании в Конопиште, великолепном имении Франца-Фердинанда. Говорилось, что на этом свидании была окончательно решена война. Теперь доказано, что и речи о войне там никакой не было: эрцгерцог пригласил к себе императора преимущественно для того,

чтобы показать ему свои розы, считавшиеся лучшими в мире. Да еще хотел сделать удовольствие своей морганатической жене: она очень любила Вильгельма. В Вене на обедах у Франца-Иосифа ее сажали ниже самых молодых эрцгерцогинь. В Потсдаме же все германские принцы сидели за общим столом, а отдельный, особенно почетный, стол ставился для нее, для эрцгерцога, императора и императрицы.

Вероятно, в суждениях о намерениях и настроениях Франца-Фердинанда все были правы: он тоже менял их довольно часто. Как бы то ни было, еще за год до войны ее по-настоящему никто, кроме полоумных, не хотел, – и все к ней бессознательно мир подталкивали, совершенно не подозревая о том, на кого в действительности работают. Видели это ясно лишь очень немногие государственные люди Европы (в их числе двое русских: Витте и Дурново). Лишь в последние недели прямо повели дело на войну Вильгельм, граф Берхтольд, Конрад фон-Гетцендорф и некоторые другие.

Так называемые секретные соглашения заключались в Европе часто, и печать видела в тайной дипломатии очень большое зло: она требовала, чтобы все совершалось под контролем общества. На самом деле одна из главных бед тайной дипломатии уж скорее заключалась в том, что она не была тайной: ее секреты очень быстро разглашались; министры не умели держать язык за зубами и даже не хотели этого: им было необходимо, чтобы их меттерниховские победы становились по возможности скорее известными всему миру. Иначе к ним и стремиться не стоило: уйдешь с должности, нечем будет похвастать, в лучшем случае будет слава у потомства, которое никого из них по-настоящему не интересовало; да и то, потомство еще может приписать заслугу преемнику, обычно противнику и сопернику. Старательно и успешно работали также репортеры, – и в Европе того времени не было ни одного секретного соглашения, которое скоро не стало бы «достоянием общественного мнения». «Общественное мнение» смыслило в иностранных делах еще гораздо меньше, чем министры. Почти в каждом соглашении одна сторона как будто выигрывала больше, чем другая, и другую начинали бешено ругать ее собственные газеты, не меньше ругая – хотя и с признанием ума и хитрости, – противную сторону. Начиналось столкновение разных общественных мнений, и раскалялись национальные страсти.

К началу 1895 года забота об избежании «*Derogierung an Prestige*» совершенно овладела умом канцлера Бюлова. Ему вдобавок очень хотелось получить княжеский титул. Этот титул давался редко и только за исключительные заслуги. Исключительную заслугу можно было себе устроить. Момент был благоприятный: Россия была занята войной на Дальнем Востоке, европейское равновесие нарушилось в пользу Германии. Французское правительство, в котором были и русофилы и англофилы и даже германофилы, все больше старалось прибрать к рукам Марокко. Эта нищая страна, почти ничего не обещавшая метрополии кроме немалых жертв людьми и деньгами, была еще гораздо менее нужна Германии, чем Франции: Вильгельм сам это говорил и писал. Но в будущее почти все европейские государственные люди заглядывали разве лишь на несколько месяцев, да и то в большинстве случаев неудачно. Между тем престиж для германской империи и княжеский титул для Бюлова можно было приобрести быстро.

Ранней весной император для отдыха решил предпринять путешествие по Средиземному морю. Морские поездки всегда действовали на него успокоительно, а он, при крайней своей нервности, очень в этом нуждался. Руководитель огромного пароходного общества Баллин, «Друг императора», с полной готовностью предоставил роскошный пароход «Гамбург» и сам, по своей инициативе, посоветовал взять с собой побольше сановников. Это было для общества превосходной рекламой. Среди приглашенных были антисемиты, недолюбливавшие еврея Баллина, но и они от приятного, бесплатного путешествия в обществе Вильгельма не отказались. Предполагалось отправиться сначала в Лиссабон, затем в Неа-

поль. Совершенно неожиданно Бюлов потребовал, чтобы император по дороге высадился в Танжере и произнес там энергичную речь в защиту независимости мароккского султана.

Вильгельм II в ту пору очень любил канцлера (которого несколько позднее стал ненавидеть). Этот очень образованный блестящий человек, прекрасный оратор, считавшийся (вместе с Клемансо) лучшим *causeur*-ом²⁴ Европы, неизменно при каждой встрече его очаровывал. Вдобавок, он считал Бюлова как бы своим учеником и во всяком случае своим созданием. С прежними главами правительства ему было скучновато, а с ним никогда. Император раза два-три в неделю приезжал в гости к канцлеру и долго с ним болтал о новостях, о сплетнях, о государственных делах. Часто оставался у него то завтракать, то обедать. Бюлов как бы случайно приглашал к столу посторонних людей, ученых, писателей, артистов, которых Вильгельм в других дворцах встретить не мог. Эти встречи были императору приятны, он много говорил об искусстве и даже о разных науках. Профессора иногда недоумевали, но слушали с восторженным вниманием. Сводил канцлер Вильгельма с крупными промышленниками, с еврейскими банкирами. Император был очень богат, хотя и не так богат, как русский царь или как Франц-Иосиф (это его раздражало). Кроме большого гражданского листа, у него было больше 90 тысяч гектаров собственной земли, много собственных замков и денег. Он уважал богатство и был очень любезен с Швабахами, Фридендерами, Симмонсами.

Предложение Бюлова и озадачило Вильгельма, и было ему вначале очень неприятно. Гимназистам было бы ясно, что речь в Танжере поведет к большим неприятностям, а может быть, и к войне. Немного раньше или немного позднее император, наверное, отнесся бы к плану канцлера с восторгом. За два месяца до того, принимая в Берлине бельгийского короля Леопольда II, он в последний день перед обедом сказал наедине королю, что принадлежит к школе Фридриха Великого и Наполеона I, что он не уважает монархов, считающихся не с одной Божьей волей, а с министрами и парламентами, что он шутить с собой не позволит, что Фридрих начал Семилетнюю войну с вторжения в Саксонию, а он начнет с вторжения в Бельгию, причем обещал королю в награду за доброе поведение несколько французских провинций. Король от ужаса за обедом ничего не ел и почти не разговаривал со своей соседкой императрицей. «Император говорил мне вещи ужасающие!» – только сказал он перед отъездом на вокзал.

Однако в марте 1905 года Вильгельму никакой войны не хотелось, и он отнесся к плану поездки в Танжер очень неодобрительно. Сказал канцлеру, что визит вреден и опасен, так как мароккский вопрос заключает в себе слишком много зажигательного материала: «zu viel Zündstoff». Бюлов не отставал, ссылаясь все на то же: на престиж Германии. Он и сам не хотел войны или думал, что ее не хочет, но любил «finassieren»²⁵ и беспрестанно повторял приписываемые Бисмарку слова: «Надо всегда иметь на огне два утюга». Хорошо зная императора, соблазнял его и эффектом. Речь в Танжере император должен был сказать, сидя верхом на коне. Дело было подробно разработано в тайных переговорах с мароккским султаном. Были приготовлены лучшие лошади султанской конюшни. Вильгельм уступил и, в сопровождении большой свиты, выехал в Танжер.

Море было беспокойное, пароход сильно качало, император чувствовал себя не очень хорошо. По дороге он опять начал колебаться: нужно ли ехать? вдруг, как это ни маловероятно, выйдет война? Помимо прочего, она означала бы конец дружбы с царем, быть может и с другими монархами; гвардия, вероятно, вся погибла бы, армия сильно пострадала бы, все пришлось бы восстанавливать сначала, – каких денег это стоило бы? Правда, почти все его предки вели войны, и странно было бы ни разу за все блестящее царствование не поводить. Большая дипломатическая, а тем более военная победа чрезвычайно увеличила бы

²⁴ Остролов (*франц.*).

²⁵ Лукавить, хитрить (*франц.* finasser).

престиж. С другой стороны, были еще разные причины для колебаний. Танжер был гнездом анархистов, можно было ждать покушений или хоть враждебной демонстрации. Капитан, качая головой, говорил, что в такую погоду причалить к берегу в Танжере невозможно, его величеству придется отплыть с парохода на лодке, а она, при сильных волнах, может и опрокинуться, или же всех вода обольет с головы до ног.

Эффект мог пропасть. Император колебался все больше. Из Лиссабона он по телеграфу известил канцлера, что решил в Танжер не ехать. Пришла ответная телеграмма с мольбами, убеждениями, почти с угрозами: можно ли не считаться с мнением германского народа? Германский народ ни о каком Танжере и не слышал, но как было не поверить Бюлову? За час до высадки император сказал Кюльману: «Я не высажусь!» – и высадился.

Лодка его не опрокинулась, арабский жеребец, хотя и взвизывал на дыбы, но дал на себя сесть, и фотографии вышли чрезвычайно удачными. Правда, революционеры орали. Вильгельм II, по его словам, произнес речь «не без любезного участия итальянских, испанских и французских анархистов, жуликов и авантюристов». В возбуждении и чтобы проявить независимость, он даже отступил от подготовленного канцлером текста и сделал свое слово еще более «энергичным». Впечатление во всем мире было сильнейшее. В демократических странах все негодовали, газеты вышли с огромными заголовками: в Танжере брошена бомба! Германские генералы (впрочем, не все) наслаждались. Трудно сказать, кого император называл «авантюристами», – себя и Бюлова, разумеется, к ним никак не причислял. Но верно еще больше наслаждался, читая газеты, Ленин: шансы на войну увеличиваются.

Все обошлось очень хорошо. Войны не произошло. Французский министр иностранных дел Делькассе, после бурного правительственного заседания, подал в отставку. Престиж Франции понизился, престиж Германии вырос. Канцлер получил княжеский титул.

В своих воспоминаниях Бюлов изобразил себя крайним миролюбцем, с негодованием издевался над своим преемником Бетманом-Гольвегом, который по глупости и неосторожности довел в 1914 году Германию и весь мир до катастрофы. В действительности, и его собственная ценная идея очень способствовала приближению войны, как и тому, что Англия выбрала второй утюг и – без восторга – перешла на сторону Франции и России. Бюлов понимал значение своих действий не лучше, чем Бетман-Гольвег, Эренталь, Делькассе, Извольский. Все они бессознательно направляли Европу к *самоубийству* и к торжеству коммунизма – тоже, конечно, не вечному, но оказавшемуся уже очень, очень долгим.

II

Незадолго до возвращения из Парижа в Россию Люда вспомнила, что у нее просрочен паспорт. На границе могли выйти неприятности.

– Как же мне быть? – с досадой спросила она Аркадия Васильевича. Он после защиты диссертации в Сорбонне стал доктором парижского университета и был хорошо настроен. Даже не подчеркнул, что у него все бумаги всегда в порядке, и всего один раз напомнил, что «давно ей это говорил»:

– Паспорт у каждого должен быть исправен.

– Да, да, ты говорил. И, конечно, русский человек состоит из тела, души и паспорта, это давно известно. Все же бывают и отступления. Вот у тебя, например, есть паспорт, есть тело, но нет души.

– О том, есть ли у меня душа, мы как-нибудь поговорим в другой раз.

– Я уверена, что нет.

– В том, что ты в этом уверена, я ни минуты не сомневался, но дело не в моей душе, а в твоём паспорте. Помни, что мы едем в Россию через две недели.

– Что ж, ты можешь отлично поехать и без меня. Я и вообще не знаю, вернусь ли я.

– Пожалуйста, не пугай меня и не уверяй, будто ты хочешь стать эмигранткой. Ты уже давно скучаешь по России. Гораздо больше, чем я.

– Это немного, потому что ты совсем не скучаешь. Была бы у тебя где-нибудь своя лаборатория, а все остальное в мире совершенно неважно.

– Разумеется, твоя деятельность, в отличие от моей, имеет для мира огромное значение. Но возвращаясь к делу: ты завтра же пойдешь в наше консульство...

– Как же! Непременно! – сказала Люда, раздраженная словом «пойдешь». – Как это я пойду в императорское консульство?

– Так просто и пойдешь или поедешь на метро. Если б ты в свое время сделала мне честь и повенчалась со мной, то вместо тебя мог бы пойти я. Но ты мне этой чести не сделала, поэтому ступай в «императорское консульство» сама. Может быть, там тебя не схватят, не закут в кандалы и не бросят в подземелье. Правительство не так уж напугано вашей революционной деятельностью. Я думаю, что и твой Ильич может беспрепятственно вернуться, и оно от этого тоже не погибнет.

– Разумеется! Ты всегда все отлично знаешь!

– Ты мне сама говорила, что он преспокойно получает деньги, которые посылают ему его родные из России легально по почте или через банк, по его настоящему имени: Николай Степанов.

– Он не Николай и не Степанов, а Владимир Ульянов, и ты отлично это знаешь.

– Да я сам видел у тебя на его брошюрке: Николай Ленин.

– Псевдоним «Николай Ленин», а имя «Владимир Ульянов».

– Довольно глупо. Впрочем, мне недавно какой-то жидоед сказал, будто он и не Ленин, и не Ульянов, а Пинхас Апфельбаум.

– У тебя очаровательные знакомства. Ильич никогда евреем не был. Он великоросс и, кстати, дворянин.

– Очень рад слышать. Но в консульство завтра же пойд.

Люда и сама понимала, что ей пойти в консульство придется. Она действительно нисколько не собиралась становиться эмигранткой. Уже начинала скучать во Франции. Особенно скучны были две недели, проведенные ими в Фонтенбло. Аркадий Васильевич и сам не любил уезжать из Парижа, но его работа была кончена, и он считал отдых необходимым им обоим: о здоровье Люды заботился почти так же, как о своем. Они сняли комнату в деше-

вом пансионе. Ни души знакомых не было. По два раза в день гуляли в лесу. Он различал деревья, умел даже определять их возраст или, по крайней мере, знал, как это делается, объяснял Люде (которая никаких деревьев, кроме берез, не знала), наслаждался законным отдыхом и даже предложил остаться на третью неделю. Люда решительно отказалась: в таких поездках был особенно приятен лишь момент возвращения в Париж.

Впрочем, на этот раз была разочарована и возвращением. Члены партии в большинстве разъехались. Центром партийной работы стала Швейцария, где жили Ленин и Плеханов. Там же находился временно Джамбул. О нем Люда вспомнила с некоторой ей самой плохо понятной досадой. Тем не менее при этом у нее неизменно выступала на лице улыбка. Ей очень хотелось побывать в Женеве, перед отъездом в Россию; следовало бы получить от Ильича инструкции. Но было совестно брать у Рейхеля деньги на поездку, хотя он их дал бы по первому ее слову. Хорошо было бы заработать франков сто. Однако зарабатывать деньги Люда совершенно не умела.

В Фонтенбло она от скуки читала три получавшиеся там газеты, все консервативные; пансион был *bien pensant*²⁶. Люда иногда заглядывала в передовые статьи «Temps», что ей казалось пределом и скуки, и человеческого падения. Пробежала светский отдел «Фигаро». Снобизма у нее не было, но звучные имена герцогинь и маркиз ей нравились. Дня за два до их возвращения ей в хронике бросилось в глаза: M. Alexis Tonyshev. Она радостно ахнула: «Конечно, он! Я давно слышала, что он служит в парижском посольстве». Газета называла его имя в списке гостей на приеме, Впрочем не очень важном, не у герцогов, а у банкиров, покровительствовавших новейшему искусству, – его имя упоминалось в светской хронике довольно часто. Теперь Люда подумала: «Вот кто может мне помочь в деле с паспортом. Прийти в консульство без протекции, будут бюрократишки ругаться. Но он, верно, о моем существовании давно забыл?»

С Тонышевым она лет шесть тому назад встретила в Петербурге на балу в пользу недостаточных студентов. Их познакомила курсистка, брат которой отбывал воинскую повинность. Тонышев был дипломат, попал на бал по просьбе этой курсистки, был с ней очень любезен, а с Людой еще больше, танцевал с обеими и хорошо танцевал. С той поры Люда его не видела, но в душе надеялась, что он никак ее не забыл.

На следующее утро она, одевшись как следует, поцеловав кошку, отправилась в посольство. Революционеры говорили, что где-то поблизости от посольства помещается и русская политическая агентура. Люда осмотрелась и вошла с любопытством. Спросила, не здесь ли принимает Алексей Алексеевич Тонышев, и узнав, что здесь, взволнованно написала на листке бумаги: «Людмила Никонова». Через минуту ее пригласили в его кабинет. Из-за стола поднялся элегантно одетый человек лет тридцати или тридцати пяти. «Ну да, он, я сейчас же узнала бы!» Тонышев ее не помнил, хотя ее лицо показалось ему знакомым. «Очень хороша собой! Кто такая и где я ее встречал?» – спросил он себя и наудачу поздоровался как со знакомой, – не спросил: «чем могу служить?» Когда Люда о себе напомнила, он радостно улыбнулся и стал очень приветлив.

– Что вы! Разумеется, узнал вас тотчас. Вы несколько не изменились.

– Вы тоже не изменились. Даже монокля не носите, хотя и дипломат, и даже, я слышала, известный дипломат. Мне недавно попалось ваше имя в хронике «Фигаро» и даже без de. – Он удивленно на нее взглянул. – Там, у этих банкиров, чуть не все другие гости были с de.

– Очень скучный был прием. Но картины у них прекрасные.

– А я к вам по делу, Алексей Алексеевич. Видите, я помню ваше имя-отчество. А вы моего наверное не помните: Людмила Ивановна.

²⁶ Благомыслящий (франц.).

– Вас тогда и нельзя было называть по имени-отчеству. Вам было лет шестнадцать, это был верно ваш первый бал? – сказал он с улыбкой. – Какое же у вас дело? Разумеется, я весь к вашим услугам.

– Оно небольшое и скорее зависит от консульства, чем от посольства. – Объяснила, что просрочила паспорт и хочет его продлить.

– Действительно, вы правы, – сказал он. – Продление паспорта зависит от консульства.

– Но я там никого не знаю.

– Личное знакомство тут и не требуется. Надо только объяснить причины. Вы почему просрочили? По нашей русской халатности?

– Отчасти и поэтому, но были еще другие причины. Не скрою от вас, я чуть колебалась, возвращаться ли мне теперь в Россию или нет. Видите ли, я левая. Консульская братия упадет в обморок.

Он немного поднял брови.

– Вы хотели стать эмигранткой?

– Не то что хотела, но одно время думала и об этом. Теперь раздумала.

– И отлично сделали, что раздумали. Надеюсь, за вами ничего худого не значится?

– «Худого» ничего. По крайней мере на мой взгляд.

– Это, конечно, очень дипломатический ответ. Скажу вам правду, я плохо знаю, какие формальности необходимы в таких случаях. Там наверное есть списки неблагонадежных лиц, – сказал он, не разъясняя слова «там». – Но так как ничего «худого» за вами нет, то вы, наверное, ни в каких списках не значитесь, и я не вижу, почему консульство могло бы не продлить вам паспорта. Быть может, впрочем, они пожелают предварительно запросить Петербург. Если хотите, я могу справиться.

– Я была бы вам чрезвычайно благодарна. Надеюсь, это вас не скомпрометирует!

– Я тоже надеюсь, – улыбаясь, ответил он. – Сообщите мне ваш телефон.

– У меня нет этого инструмента.

– Неужели еще есть счастливицы, живущие без телефона? Тогда я вам напишу.

– Вы очень меня обяжете, – сказала Люда и записала свой адрес. Он смотрел на нее с любопытством. «Разумеется, революционерки такие не бывают», – подумал он. Никогда ни одной революционерки не видел.

Тремя днями позднее под вечер Люда готовила несложный обед. Рейхель, долго учившийся в Германии, предпочитал всем блюдам бифштекс с яйцом. Говорил, что еще любит русские котлеты. Однако котлеты требовали труда и времени, да еще вдобавок «плевали жиром со сковороды», и Аркадий Васильевич получал их редко, лишь в знак особой милости. Люда работу на кухне терпеть не могла; надевала, стряпая, белый халат и завязывала волосы платком. Сама в еде была неприхотлива и вполне удовлетворялась бифштексом. На хозяйство тратила пять франков в день. Прислуги у них не было, но она держала меблированную квартиру в чистоте.

Работа была уже кончена, когда на улице протрубил автомобиль, к некоторому удивлению Люды. Автомобилей тогда еще было не так много и в Париже, а в их тихом квартале они почти не появлялись. Люда подошла к окну: «Тонышев! К нам!..» Она поспешно сняла передник, сорвала с головы платок, осмотрела комнату, бывшую у них кабинетом, столовой и гостиной. Все было в порядке. Кухней не пахло. Послышался звонок. Она быстро осмотрелась в зеркале – «прическа не смялась» – и отворила дверь. Тонышев, в легком пальто, в шелковом шарфе, в цилиндре, радостно улыбаясь, просил извинить его:

– Не очень помешал? Незванный гость хуже татарина.

– Нисколько не помешали. Я очень рада.

– Я только на несколько минут.

– Да почему «на несколько минут»? Я совершенно свободна и страшно вам рада. Снимите пальто, положите цилиндр хоть на этот стул... Пойдем в гостиную.

– Ваше дело с паспортом в полном порядке.

– Неужели? Тогда я рада еще больше. И очень, очень вам благодарна. Усаживайтесь.

– Я собирался вам написать, как было условлено, но сегодня суббота, вы получили бы письмо только послезавтра или же вас завтра утром разбудил бы пневматик. А я получил в консульстве ответ только часа два тому назад. Поэтому я позволил себе к вам заехать.

– Да вы точно оправдываетесь! Это так любезно и мило с вашей стороны.

– Разумеется, вам надо будет побывать в консульстве лично. Это займет не более полчаса. Они где-то навели справку, и оказалось, что никаких препятствий нет. Видите, не так страшен черт, как его малюют.

– Особенно, когда есть к черту и протекция.

– В самом деле я за вас у черта поручился, – сказал он, смеясь. – Пожалуйста, не подведите меня.

– Не обещаю, не обещаю. Пеняйте на себя, что поручились. Но вас, наверное, не повесят, разве только сошлют в каторжные работы, – весело говорила Люда. – Вот что, чаю я вам не предлагаю, не время, но хотите портвейна? Я выпила бы с вами.

– Если вы так добры.

Люда вышла на кухню. Там у них был графин с банюильсом, который она выдавала за портвейн, угощая некомпетентных гостей. «С ним это верно рискованней, но ничего, сойдет... Какой элегантый!» Подумала, что Рейхель вернется из лаборатории не раньше, чем через час. Это было кстати.

Тонышев тем временем осмотрелся, стараясь по обстановке определить, кто такая Люда. «Замужем? Курсистка? Едва ли». Взглянул на лежавшие на столе книги: «Что делать?» Это хуже. – Имя автора «Н. Ленин» было ему неизвестно. «Но ведь «Что делать?» это Чернышевского?» Другая книга была успокоительней: роман Поля Бурже. Рейхель недавно купил ее, кто-то из товарищей по Пастеровскому институту сказал, что в этом романе выведен *un prince de la science*²⁷. Это выражение понравилось Аркадию Васильевичу, но, прочтя роман, он подумал, что выведенный *prince de la science* очень мало похож на настоящих ученых.

Полю Бурже давал тему для начала разговора: от него легко было перейти к более модным писателям, к Марселю Прево, к Анатолю Франсу, к Кипплингу, еще легче к модным курортам, к Трувилю, Веве или Остенде. По обстановке квартиры Тонышев видел, что о модных курортах говорить не надо. С красивыми женщинами он предпочитал начинать разговор с литературы или с живописи. Говорил достаточно хорошо для светского человека, хотя и не слишком блистательно; было именно приятно, что он не старается блистать, как профессиональный *causeur*. Он много читал, преимущественно тех авторов, при чтении которых надо было «делать поправку на их время».

О легком походе с этой новой своей знакомой он и думал, и нет. Старался запрещать себе мысли, казавшиеся ему не очень благородными. Иногда это ему удавалось. Но, еще прощаясь с Людой в посольстве, он сказал себе, что собственно в таких похождениях ничего неблагородного нет, да и как же без них жить человеку, не собирающемуся стать монахом?

– Боже, как отстал этот человек! Я встречал Бурже в обществе. Он живет идеями начала прошлого века и вдобавок влюблен в аристократию, хотя сам *Monsieur Bourget tout court*²⁸. Да и по таланту где ему до Эмиля Золя! Вот кто был герой. Мне так жаль, что он не дожил до реабилитации Дрейфуса.

²⁷ Ученый муж (франц.).

²⁸ Всего-навсего господин Бурже (франц.).

К удивлению Люды, оказалось, что Тонышев недолго любил антидрейфусаров и правых. Она сочла возможным ругнуть не так давно убитого Плеве. Ильич министров обычно называл непристойными словами. Люда их никогда не произносила, и Плеве назвала просто негодяем. Тонышев тоже отозвался о нем резко.

– Я благодарю Бога, что служу по ведомству иностранных дел. У нас такие люди невозможны!

– И вы довольны службой?

– В общем доволен. Это интересная жизнь. Я побывал в разных столицах. Особенно мне было интересно пожить в Константинополе. Теперь мой несравненный Париж. Однако я скоро его покину. Меня переводят в Вену.

– Вот как? – спросила Люда с огорчением. «Но какое мне до него дело?» – рассердившись на себя, подумала она. – Это повышение?

– По должности повышение. Вена тоже красивый город. Интересно будет взглянуть и на их застенчатый двор, с этикетом пятнадцатого века. Вдобавок, Австро-Венгрия теперь центральный географический пункт мира, по крайней мере в дипломатическом отношении. Я не люблю швабов, но...

– Каких швабов?

– Я хотел сказать: немцев. Но австрийцы в частности наши противники. Что ж делать, «la vérité a des droits imprescriptibles»²⁹, как говорил Вольтер. Необходимо приглядываться. Да и независимо от этого, я люблю новые места, новых людей, люблю наблюдения. Когда уйду на покой, напишу мемуары, как все уважающие себя дипломаты.

– Куда же вы уйдете на покой?

– У меня в Курской губернии есть имение. Не очень большое, но оно дает мне возможность сносно жить, – сказал он, чтобы иметь возможность спросить и ее о том, кто она.

– Родовое имение?

– Нет, не родовое. Я не «столбовой», – весело сказал он. – Имение купил отец и выстроил там дом, не «в стиле русского ампира», а просто удобный дом с проведенной водой, с ванной комнатой. Я очень люблю свое имение, хотя сельского хозяйства не знаю. Каждое лето там бываю и всегда чувствую, что и у меня, кочевника-дипломата, есть свой дом. А какая там охота!

– Вы охотник?

– Горе-охотник. Впрочем, почему же «горе»? Я охотник настоящий и стреляю влет недурно.

– Но что же все-таки делать в деревне, кроме писания мемуаров? Охота – развлечение, нельзя же только развлекаться... Вы женаты?

– Нет, не женат, – ответил он. Теперь был случай спросить ее, замужем ли она. Но Люда предупредила вопрос:

– Будете скучать? Я никогда в деревне не жила. Мой отец и дед были военные, жили в городах. – «Вот как. Я думал, она колокольного происхождения: Никонова», – подумал Тонышев в чужих привычных словах; сам был к вопросам происхождения равнодушен. – У нас никакого имения не было.

– Нет, скучать не буду. Я нигде никогда не скучаю. Буду охотиться, ездить верхом. Я недурно езжу, отбывал воинскую повинность в кавалерии. «Не сказал «в гвардии», – подумала Люда.

– Ведь вы, кажется, служили в кавалергардском полку или в лейб-гусарском?

– О нет, эти полки были бы мне и не по карману. Я служил вольноопределяющимся в лейб-гвардии драгунском, второй дивизии. И я не очень люблю военную службу, – ответил

²⁹ «Правда имеет неписанные права» (франц.).

он. Кошка вспрыгнула ему на колени. Он ее погладил и похвалил. Это тоже понравилось Люде. Рейхель в таких случаях сгонял кошку с ругательствами и проклятиями.

– Вы в Париже давно?

– Третий год. Какой очаровательный город, правда?

Они еще поговорили о Париже, о театрах, особенно о выставках. Люда в театрах бывала не часто, выставками мало интересовалась, но с честью поддерживала разговор. «Однако, для царского дипломата он очень образован!» – думала она.

– Я особенно люблю Париж ранней весной, когда еще сиверко, – сказал Тонышев. «Сиверко»! Надо запомнить».

– Представьте, я тоже. Обожаю Булонский лес. Какая красота! Я и Петербург обожаю, но там Булонского леса нет.

– Вы мне даете мысль, – нерешительно сказал Тонышев. – Надеюсь, вы не сочтете ее дерзостью? Что, если бы мы поехали в Булонский лес и там пообедали в одном из этих чудесных ресторанов? Вспомним и Петербург, где мы познакомились. Ведь мы, выходит, старые знакомые!

Люда смотрела на него озадаченно. «Очевидно, думает «завести интрижку»? Никакой «интрижки» ему не будет, но почему же отказываться? Он сам, кажется, смутился. Это у него вышло экспромтом, без «заранее обдуманного намерения». Отчего бы и нет? Обед Аркадию готов, отлично пообедает и без меня. Сказать ему об Аркадии? Нет, успеется».

– Спасибо, это очень милое приглашение. С удовольствием принимаю. Сейчас и поедем? Тогда я пойду переоденусь. Вы подождете меня минут десять?

– Разумеется. Сколько вам угодно! – радостно ответил он.

Люда вышла в спальную и написала записку: «Аркаша, обед готов. Разогрей бифштекс, положи немного масла на сковороду. Пиво в буфете. За мной неожиданно заехал этот Тонышев и еще неожиданнее пригласил на обед!!! Не ревнуй. А если и ревнуешь, то все-таки накорми кошку не позже восьми. Ее печенка за окном в кухне. С паспортом все в порядке. Он очень любезен. Не паспорт, а Тонышев. Доброго аппетита. Л.» Ее платья были в шкафу в спальном. Она выбрала подходящее.

Тонышев тем временем перелистывал «Что делать?». Опять подумал: «Это хуже». Но какое мне дело до ее взглядов? Она очень мила. Хорошо встречать самых разных людей. Уж если решил быть в жизни «наблюдателем»... Бисмарк дружил с Лассалем».

III

Люда подумала, что и этот ресторан, и переполнявшая его публика живут эксплуатацией рабочего класса. Но сильных угрызений совести не почувствовала. Все тут, столики с белоснежными скатертями, мягко и уютно освещенные лампочками с одинаковыми абажурами, туалеты дам, так не походило на дешевенькие грязноватые ресторанчики, в которых они иногда обедали с Рейхелем, обсуждая цену каждого блюда. По привычке Люда и тут взглянула на правую сторону обеих карт, но никаких цен не нашла.

– Вы любите шампанское, Людмила Ивановна? – спросил Тонышев. – Я не люблю, это у меня какая-то аномалия. Но здесь есть превосходное красное бордо. С вашего разрешения, мы с него начнем: вместо рыбы я вам предложил бы лангусту, а ее отлично можно запивать и красным вином. Вообще все эти правила гастрономов очень условны и часто казались мне неверными.

– А вы гастронм? И знаток вин? – спросила Люда, беспокожно вспомнив о банюильсе.

– Нет, просто люблю хорошо поесть. Гастрономам плохо верю, а уж тем знатокам, которые говорят, что различают год вина, не верю совершенно.

По тому, как он заказывал обед и как ел, Люда видела, что еда занимает немалое место в его жизни. «И без рисовки человек», – думала она. Ей понравилось, что после красного вина он заказал только полбутылки шампанского, очевидно не боясь потерять уважение лакея. «Джамбул тоже не рисуется, но он полбутылки не заказал бы».

– Я ведь пить не буду, а вы целой бутылки не выпьете, – пояснил Тонышев.

– Без вас и я не буду пить, – сказала Люда. Ей очень хотелось шампанского.

– Тогда выпью бокал и я.

Разговор он вел очень приятно, слушал внимательно, говорил о себе в меру. Ее спрашивал только о том, о чем можно было спрашивать при первом знакомстве: любит ли она импрессионистов, что думает о Дебюсси, предпочитает ли Малый театр Александринскому?

– О Художественном я вас не спрашиваю. На нем у нас коллективное умопомешательство. Театр хороший, и артисты есть талантливые, но нет гениальных артистов, как Давыдов. Он величайший актер из тех, кого я видел, а я видел, кажется, почти всех. Да и актрис таких, как Ермолова или Садовская, у них нет. Книппер или Андреева, если говорить правду, артистки средние. И ничего не было уж такого умопомрачительного в постановке «Федора Иоанновича». Не говорю о Станиславском, он большой талант. Но Немирович-Данченко мало понимает в искусстве: достаточно прочесть его собственные пьесы, это просто макулатура, и вдобавок макулатура à clef³⁰: выводил своих знакомых!

– Ось лихо!

– Вы не украинка ли? По вашему говору не похоже.

– Нет, я коренная великороска. Но я обожаю украинцев! И еще кавказцев, особенно осетин, ингушей. Малорусского языка я и не знаю, но ужасно люблю вставлять украинские слова, обычно ни к селу ни к городу как только что. И ругаться чудно умею. Вы не верите? «Щоб тебя пекло, да морило!..» «Щоб тебя, окаянного, земля не приняла!..» «Щоб ты на страшный суд не встал!..»

– Да это все великорусские слова плюс «щоб». Так и я умею, – сказал Тонышев. Обоим было весело.

– А вы говорите «сиверко». Разве вы вологодский? Или где это у нас так говорят?

– Нет, это моя мать была родом из северо-восточной России, и у нас в семье осталось это слово. А я родился в Петербурге.

³⁰ Спisanная с натуры (франц.).

– Я тоже.

– Но возвращаюсь к театру. Я когда-то видел в Киеве малороссийскую труппу. Они тоже ставили макулатуру, такую же, как та, что преобладала и в наших столичных театрах. Но как ставили и как играли! Заньковецкая могла дать нашей Комиссаржевской «десять очков», как говорится в чеховской «Сирене».

Люда горячо вступилась за Комиссаржевскую:

– Я ее обожаю! – сказала Люда. Она по-особенному произносила это слово: «Аб-ба-жаю!». – Комиссаржевская *наша*, она понимает чаянья нашего времени. Божественная артистка!

– Едва ли «божественная». Конечно, и она очень талантлива, хотя тоже мало смыслит в литературе.

– Уж очень вы строгий судья, Алексей Алексеевич! Да вы сами не пишете ли?

– Только докладные записки. Правда, веду дневник.

– Вот как! О чем же?

– Не о мировых проблемах. Просто о том, что вижу и слышу. И, разумеется, только для себя.

– Так говорят все авторы дневников, а потом печатают. Но вы любите литературу?

– Чрезвычайно. Имею библиотеку тысячи в две томов. Я немалую часть своего дохода трачу на книги и на переплеты. У меня слабость к переплетам, есть даже работы самого Мишеля.

– Но ведь как дипломат вы часто переезжаете. Неужели все с собой перевозите?

Он вздохнул.

– Вы попали в большое место. Да, перевожу и книги, и обстановку. Я думал, что в Париже пробуду долго, и устроился прочно. Нашел квартиру с собственным садиком в Пасси, где еще мало кто живет. На отделку потратил все свои сбережения, даже влез в долги магазинам. Теперь, конечно, все уже выплатил. Так вот, переезжай в Вену!

– Хорошая у вас квартира?

– Не сочтите за хвастовство: чудесная! И картины есть. Поверите ли вы, что я купил Сезанна за сто франков? А он по гению равен величайшим художникам Возрождения. Отчего бы вам не взглянуть? Сделайте одолжение, побывайте у меня.

«Однако! – подумала Люда. – Темп берет уж очень быстрый! Даром стараешься!»

– Как-нибудь с удовольствием.

– Отчего же «как-нибудь»? Поедем ко мне хоть сегодня, отсюда, – предложил он и сам опять смутился. «Прямо мопассановский вивер³¹ с гарсоньерками!» – подумала она. Другому ответила бы: «Отстань, нет мелких». – Вот и отдадите мне визит, – пошутил Тонышев. – Или вы по вечерам не выходите?

«Это значит: «Или вы замужем?» – перевела она его вопрос. Ей не хотелось говорить ему о Рейхеле, особенно об их гражданском браке; в своем кругу она об этом сообщала новым людям с первых слов, но там на это никто не обращал внимания.

– Отчего не выхожу? В самом деле можно было бы куда-нибудь еще поехать после обеда. Разве в театр?

– В театр уже поздно.

– Значит, вы меня сегодня «вывозите»? Если так, то знаете что? Мне давно хочется взглянуть на ночной Париж. Вы его видели?

– Разумеется, видел. Но Монмартр с его кабачками *уж* очень банален. Хотите побывать на «Bal d'Octobre»?

– Какой «Bal d'Octobre»?

³¹ Прожигатель жизни (*франц. viveur*).

– Это одна из самых популярных трущоб Парижа. Я всюду бывал: и у Fradin, и в «Ange Gabriel», и в «Le Chien qui fume»³². «Bal d'Octobre» самая жуткая. Не пугайтесь, никаких убийств там не бывает, есть много апашей, но сидят и полицейские. Туда ездят наши великие князья. Недаром в Париже все такое теперь называется «la tournée des Grands Ducs»³³. Только туда в одиннадцатом часу ехать еще рановато. И уж на минуту мне все равно пришлось бы заехать домой. Переодеваться ни вам, ни мне не нужно, а вот мой цилиндр там был бы принят недружелюбно.

– Ваш цилиндр не только в трущобах, но и на мою консьержку, верно, произвел сильное впечатление, – сказала Люда. – «Где наша не пропадала! Вернусь к часу. Аркадий беспокоиться не будет, привык».

– Я и сам не люблю этот странный головной убор. Ничего не поделаешь, все носят.

– Не в моем ученом квартале, – сказала она. Говорила бессознательно в единственном числе: «Мой квартал, моя консьержка». «Так она ученая? Надеюсь, хоть не медичка?» – подумал он. – Но вы были верно еще элегантней в мундире. Вы имеете придворное звание? – спросила Люда. «Точно я ему все учиняю допрос! Тогда необходимо сказать хоть что-либо и о себе». Ей не хотелось говорить и о том, что она социалистка.

– Никакого придворного звания не имею... Вы верно меня считаете человеком из романа какого-нибудь Болеслава Маркевича? – спросил он, засмеявшись. – Это неверно. Уж если говорить на политическом жаргоне, то я просто либерал, разве с легким уклоном в сторону... Как сказать? Не славянофильства, а в сторону нашего покровительства балканским странам с целью объединения славян. Видите, я жаргон знаю. И, само собой, я сторонник введения в России конституции. Мы к этому и идем со времени убийства Плеве.

– Значит, вы сочувствовали его убийству? – насмешливо спросила Люда.

– Я не могу сочувствовать убийствам, как не могу сочувствовать и казням. Но если говорить совершенно искренне, то мое первое чувство, когда я узнал о смерти Плеве, была радость.

– Довольно неожиданно для царского дипломата.

– Мне самому было совестно, да что ж делать, это было именно так. Вы говорите: «царский дипломат». Да, я царский дипломат и монархист. Вы еще больше удивитесь, если я скажу, что убийству Плеве рады были многие «царские дипломаты». Он, помимо прочего, был одним из главных виновников этой бессмысленной и несчастной войны с Японией. Дипломат по самой своей природе не должен стоять за войну... Не должен, хотя часто стоит. По-моему, наша единственная задача, даже наше ремесло, в том, чтобы предотвращать войны. Офицеры другое дело, хотя и из них немногие сознаются, что в глубине души хотят воевать... А вы очень левая? – весело спросил он.

– Очень. Но я не хочу говорить о политике.

– Признаться, и я не хочу. Понимаю, что мы во взглядах не сходимся. Не все ли равно, каких вы взглядов, если...

– Если что? – спросила Люда. «Вот теперь для него прекрасный случай сказать какую-нибудь галантерейность о моем уме или о моем очаровании», – подумала она.

– Если можно говорить о чем угодно другом, о том, что людей не разъединяет, – dokonчил он. Люда смотрела на него чуть разочарованно. Ее несколько разочаровали и его либеральные взгляды. Почему-то с самого начала она его представила себе «холодным аристократом»; между тем он на «холодного аристократа» не походил, и ей было досадно расстаться со своим представлением. «Уж не просто ли бесцветная личность? Впрочем, симпа-

³² «Собака, которая курит» (франц.).

³³ «Прогулка великих князей» (франц.).

тичный. В старости верно будет носить великолепную окладистую бороду à la... Не знаю à la кто... И это его испортит. Он недурен собой».

– Шампанское очень хорошее. Вы обещали выпить бокал, – сказала она. – За что же? Давайте выпьем как запорожцы: «щоб нашим ворогам було тяжко»!

– За это не могу. Я не запорожец – и не революционер. У меня нет врагов.

– Это скорее печально: значит, у вас мало темперамента.

– Выпьем «щоб нам було хорошо».

– Что ж, можно и так.

Квартира у Тонышева была небольшая, всего в три комнаты, действительно очень хорошая. «Ему никак нельзя сказать, что я люблю все красивое. Мебель, разумеется, стильная, но лучше об этом не говорить: можно и напутать». Свойственное ей чутье подсказывало ей, как приблизительно надо с ним говорить. В кабинете у среднего из трех окон стоял большой письменный стол с покатою крышкой.

– Вы верно видели в Лувре похожее бюро, принадлежавшее Людовику Пятнадцатому, – сказал он. – Разумеется, то неизмеримо лучше, но и мое недурное, мне посчастливилось купить на редкость дешево! Я был просто счастлив в тот день!

Люда поддерживала разговор осторожно. Подходя к картинам, старалась незаметно прочесть подписи и очень хвалила, особенно картины новых художников. Это видимо доставляло ему удовольствие, хотя он сразу огорченно заметил, что его гостя мало смыслит в искусстве. У длинной стены были шкапы с книгами. На столах лежали разные издания в дорогих переплетах. «Верно, если капнуть чаем, он сойдет с ума от горя...» На шкапах стояли бюсты Пушкина, Тургенева, Чайковского. «А этот кто? Кажется, поэт Алексей Толстой? Он-то почему?»

– Сколько у вас книг! Завидую, – сказала она. Тонышев улыбнулся.

– Помните у Гоголя обжору Петра Петровича Петуха. Каждый из нас на что-нибудь Петух, если можно так выразиться. Он на еду, я на книги. А вы на что Петух?

– Ни на что, – подумав, ответила Люда с досадой. – У вас на шкапу Пушкин и Чайковский. Я очень люблю их сочетание. «Евгений Онегин» моя любимая опера.

– Хотя тут мы с вами вполне сходимся.

– Не удивляйтесь, в искусстве я люблю не только революционное.

– И слава Богу!

– А вы играете на рояле?

– В молодости учился.

– «В молодости»! Значит, теперь вы «стары»?

– Мне тридцать три года, Людмила Ивановна. Все главное уже позади. На что новое может надеяться тридцатитрехлетний человек? Ведь это уже почти старость, а? Играть же я перестал, когда впервые услышал Падеревского. Сделалось совестно, что я смею играть на рояле. Тогда начал интересоваться живописью.

– Почему, кстати, у вас эта вещь над диваном в двух экземплярах?

– Это мой трюк! – сказал Тонышев. – Та, что слева, это моей работы: подделка под сангину восемнадцатого века. А рядом оригинал. Не удивляйтесь, подделывать нетрудно. Я нашел в лавке старьевщика очень старую бумагу, подверг ее действию дыма, чуть обжег где-то концы, намалевал и ввожу в заблуждение знакомых. Кажется, похоже?

– Очень похоже! Так вы умеете и «малевать»? Вы, я вижу, эстет?

– Знаю, что так называются не одаренные творческими способностями люди и что быть «эстетом» очень гадко.

– Я этого и в мыслях не имела!

– Будто?.. В эту трущобу ехать еще рановато. Посидим немного у меня. Я вас ничем не угощаю?

– Помилуйте, после такого обеда!

«Никаких мопассановских намерений у него, очевидно, и не было. Просто хотел мне показать свои сокровища. Ну, и слава Богу! Да я, конечно, и не допустила бы», – подумала Люда.

Она действительно никогда никаких походов не имела и порою сама этому удивлялась: «Все-таки несколько «страстных слов» мог бы из себя выдавить. Джембул был предприимчивее, хотя и с ним не было ничего. Там просто помешал Съезд! Очень он добивался, но уехал из Лондона без большого сожаления. Правда, на прощанье поцеловались. Он сказал, как будто даже с угрозой: «Мы скоро встретимся», но, должно быть, думал: «Не хочешь – не надо, найду другую». Где же мы встретимся? Писал он из Женевы довольно мило», – вспоминала Люда с улыбкой. Думала о Джембуле и поддерживала разговор с Тонышевым. «Этот царский дипломат по-своему тоже мил, но он чужого мира, и какое же сравнение с Джембулом!»

– ...А вы скоро переезжаете в Вену?

– Сначала должен еще съездить в Россию. Побываю на Певческом мосту, увижу начальство, сослуживцев. Надо людей посмотреть...

– И себя показать? – спросила Люда. «На Певческом мосту»! Конечно, чужой мир!

– И себя показать, совершенно верно.

– Вы в Москве не будете?

– Только несколько дней, проездом в имение. Я в Москве почти не имею знакомых. А вы в России будете скоро?

– Очень скоро! В Москве остановлюсь у родных, у Ласточкиных, – ответила Люда, не уточняя «родства». – Может быть, слышали? Дмитрий Анатольевич Ласточкин? Его в Москве все знают. У них музыкальный салон, они очень гостеприимны, тотчас вас, конечно, позовут, послушаете хорошую музыку.

– Я был бы чрезвычайно рад.

– Позвоните с утра, я буду вас ждать. Номер найдете в телефонной книге. Они будут вам очень рады... А все-таки не пора ли нам ехать в этот ваш Bal d'Octobre? Почему оно так называется?

– Не знаю, в самом деле странное название. В нем есть что-то зловещее. – Тонышев посмотрел на часы. – Да, теперь уже можно. Я сейчас надену более подходящую шляпу, – сказал он, вышел и тотчас вернулся в другом пальто, впрочем тоже элегантно, держа в руке мягкую шляпу и другую палку.

– Это палка с лезвием внутри, но вы не беспокойтесь. Апаши там театральные... Едем.

У Люды екнуло сердце, когда она увидела полицейского в тускло освещенной комнатке около входной двери, над которой снаружи красными буквами горело одно слово «Бал». Из залы доносились звуки вальса, смех, гул. Полицейский хмуро оглядел новых посетителей. Они явно принадлежали к знакомой и малопонятной ему породе искателей сильных ощущений. Он буркнул, что палки надо оставлять в раздевальной. Тонышев поспешно отдал палку сидевшей в каморке мрачной старухе.

– Еще не составили бы протокола за незаконное ношение оружия, – сказал он Люде. Видел, что она взволнована, и пожалел, что привез ее в такое место.

В зале со сводчатым низким потолком было накурено и очень душно. Почти все грязные, не покрытые скатертями деревянные столики были заняты плохо одетыми, полупьяными людьми. За одним из столиков с тремя пустыми бутылками два человека спали, опустив головы в каскетках на скрещенные на столике руки. Спавший около них бульдог залаял

было на вошедших, но раздумал и снова положил голову на лапы. В середине зала в небольшом круге танцевала одна пара: молоденькая, миловидная, пьяная женщина и мужчина в блузе, с папирсой в зубах. «Апаш! Куда мы попали! Хорошо, что там ажан!.. Все женщины без шляп!» – еле дыша, подумала Люда. Впрочем, у стены сидела компания туристов, в ней дамы были в шляпах. Рядом с ними был свободный столик. Тонышев и Люда направились к нему. Публика их провожала насмешливыми взглядами. Кто-то зафыркал, кто-то зааплодировал, все же большого интереса они не вызвали. Тонышев заказал абсент подошедшему к ним сонному человеку, тоже очень похожему на апаша.

– Вот это и есть «ночной Париж», – сказал негромко Тонышев Люде. Видел, что она очень взволнована. – Вы удовлетворены?

– Удовлетворена.

– Будьте спокойны, с нами ничего случиться не может.

– Я совершенно спокойна!.. Так это и есть апаша?

– Во всяком случае, подонки общества. Тут и ночлежка. Кажется, двадцать сантимов за ночь, а «с женщиной за франк». Я по крайней мере сам видел такую надпись на домах страшной средневековой рю де Вениз.

– Не может быть!

– Забавно, что здесь играют сентиментальный вальс из «Фауста». Знаете ли вы, что в двух шагах от этой трущобы в Сент-Этьен-дю-Мон похоронены Паскаль и Расин? В этом есть некоторый символизм, правда? Вершины и низы рядом. Так, у подножья Синая ведется теперь торговля опиумом и гашишем.

Люда с жадным любопытством смотрела на все в зале. Танцевавшая женщина вдруг вскрикнула, грубо выругалась и ударила по руке своего партнера. Он обжег ее лицо папирсой. Все засмеялись, смех перешел в хохот, бульдог опять залаял. Еще две пары пошли танцевать.

– Вы не жалеете, что пришли?

– Не жалею. Надо увидеть и это.

– Пожалуй, хотя особенно необходимости я в этом не вижу.

Лакей налил им абсента.

– Два франка. Деньги вперед, – сказал он умышленно грубым тоном. Знал, что и это производит впечатление на посетителей трущоб: «чем грубее с этими болванами говорить, тем больше они оставляют на чай».

– Эти страшные социальные контрасты! После того ресторана и вашей музейной квартиры этот притон «с женщиной за франк»! – сказала Люда. Ей было очень не по себе и не хотелось начинать в притоне умный разговор, но нельзя было и молчать. Она залпом выпила абсент. – Вот с такими явлениями мы и боремся.

– Кто мы?

– Социалисты. Я социал-демократка.

– Я не знал, что вы боретесь с этим. Что же вы можете тут сделать?

– Создать такие общественные условия, при которых никому не надо будет продаваться.

– Я с этим совершенно согласен, – сказал Тонышев. «Уж очень obvious³⁴ то, что она говорит. Мы с ней и люди разных миров», – подумал он. – То есть согласен с этой общей целью. Но это, по-моему, дело медленного совершенствования нравов. Тут религия гораздо важнее, чем самые лучшие партии.

– Какая уж религия! Я атеистка.

Он вздохнул:

³⁴ Очевидно (англ.).

– Боюсь тогда, что вы будете несчастны, как три четверти нашей левой интеллигенции. Последствие атеизма: человек не может быть счастлив.

– Это в политике можно и нужно думать о последствиях, а в философии, в религии они ни при чем.

Он тоже подумал, что глупо и даже неприлично говорить в притоне о Боге. «Très russe!»³⁵ – сказал себе он и хотел свести разговор к шутке:

– Вот вы социал-демократка, но признайтесь, вы рады, что внизу сидит полицейский... Не гневайтесь. Мне так хотелось бы, чтобы вы были счастливы, Людмила Ивановна... Как кстати ваше уменьшительное имя?

– Люда.

– Вы так молоды. Можно вас называть Людой?

– Можно.

К ним подошла, держась за щеку, женщина, которую только что обожгли. Она была совершенно пьяна. Тонышев смотрел на нее с тревогой, а Люда с ужасом.

– Милорд, можно к вам подсесть?.. Нельзя? Тогда угости меня, здесь недорого, – сказала она. Тонышев поспешно сунул ей деньги. Женщина отошла, с ненавистью взглянув на Люду.

– Вы расстроены? Если хотите, пойдем?

Люда, отвернувшись от него, вдруг достала носовой платок и поднесла его к глазам. Он смотрел на нее растерянно. «Что с ней? Надо поскорее увести ее. Еще может случиться истерика! Вот не ожидал!» – подумал он. В конце зала около пианино кто-то вынул фотографический аппарат и навел его на публику. Послышались крики и брань. Апаш рванул аппарат из рук фотографа. Говорившая по-английски компания туристов сорвалась с мест и направилась к выходу. Поднялся сильный шум. Упала и разбилась бутылка. Залаял бульдог. У пианино началась драка.

– Они правы, что уходят. Это, верно, полицейский фотограф. Пойдемте и мы, – поспешно сказал Тонышев и поднялся первый. Люда встала, не отвечая и не отнимая от глаз платка. Он все больше жалел, что привел ее сюда. За дверью полицейский, неторопливо шедший в зал, окинул искателей сильных ощущений еще более угрюмым взглядом и что-то пробормотал. Старуха отдала Тонышеву пальто и шляпу, с любопытством поглядывая на Люду.

На улице им протянул руку с шапкой дряхлый старик, его поддерживала женщина, тоже очень старая. Люда открыла сумку и дала старику свою единственную золотую монету. Тонышев смотрел на нее все более растерянно. Он тоже что-то дал старику.

– Мы найдем извозчика у церкви, это налево, – сказал он. С минуту они шли молча.

– Извините меня, я глупо разнервничалась, – сказала наконец Люда.

– Это вы меня, ради Бога, извините. Совсем не надо было нам сюда ездить.

– Отчего же?

Они нашли извозчика.

– Нет, верно, фотограф был не из полиции, она и без того всех их знает. Должно быть, просто любитель или репортер, – сказал Тонышев. – Да он и не успел нас снять. У него тотчас вышибли аппарат.

– Да, вышибли аппарат... А хотя бы и снял, мне совершенно все равно.

Тонышев решительно не знал, о чем говорить. У крыльца ее дома он сказал:

– Когда я могу быть у вас, Люда?

– Будем вам очень рады. Мы обычно принимаем по воскресеньям, но можно и в любой будний день, только предупредите... И еще раз спасибо за вечер, – сказала она и отворила

³⁵ «Очень по-русски!» (франц.).

дверь ключом. Тонышев смотрел на нее с недоумением... «Так она замужем? И сообщила об этом под занавес! И социал-демократка! И так дешево-гуманно расплакалась в притоне!» – думал он разочарованно; сразу потерял к Люде интерес.

IV

Спор был о том, примут ли работу. Автор говорил, что никогда не примут. Его друг отвечал, что могут принять. Они часто спорили. Впрочем, Эйнштейн видел, что Бессо, инженер по образованию, понимает в его теории не очень много.

– По-моему, могут напечатать, – говорил Бессо, впрочем, старавшийся не слишком обнадеживать своего друга: думал, что если работу не примут, то это будет для него очень тяжелым ударом. – Ты когда ее доставил?

– Тридцатого июня. Если бы приняли, то уже появилась бы, – отвечал со вздохом Эйнштейн.

– Разве непринятые рукописи не возвращаются? Ведь это не газета!

– Вероятно, возвращаются.

– Но почему же ты думаешь, что не примут?

– Потому, что я никто; не ученый, не профессор, не приват-доцент, один из двенадцати служащих Патентного бюро. Кроме того, ты ведь знаешь, что это за работа. Ее понять не так легко.

– Не так легко, так пусть и потрудятся. И там в редакции сидят не фельетонисты, а Друде, Рентген, Кольрауш, Планк!

Эйнштейн только вздыхал.

– Они скажут, что это глупая шутка. Как французы говорят, *une fumisterie*, – с трудом выговорил он французское слово. – Я и сам иногда так думаю: может быть, теория относительности это именно *fumisterie*?

– Ну, я не Рентген, но я никак этого не думаю! – бодро отвечал Бессо. – Увидишь, напечатают хотя бы как парадокс.

Жили Эйнштейны в Швейцарии очень бедно, берегли каждый франк, принимали мало, ни в какое швейцарское общество не вошли. Только Бессо бывал у них чуть не каждый вечер. Он недолюбливал Милеву. У нее и вид был всегда суровый, говорить с ней ему было трудно. Она была сербка. Училась математике, но муж с ней о науке никогда не разговаривал, да и вообще разговаривали они не часто. Быть может, Эйнштейн и сам не знал, почему на ней женился. А она уж, наверное, плохо понимала, зачем вышла замуж за этого скучного немецкого еврея, который вечно рассказывал несмешные анекдоты, зарабатывал в Патентном бюро 3500 франков в год, одевался Бог знает как и брился без щетки обыкновенным мылом, растирая его на щеках и подбородке рукой. Милева обычно к ним и не выходила, только подавала им бутылку пива и оставшуюся от обеда баранину, – он почти всегда ел баранину да еще колбасу. По воскресеньям Бессо приходил днем. Они сидели у окна и любовались, поверх веревки с сушившимся бельем, видом на Юнгфрау. Иногда Эйнштейн пиликал на скрипке. Иногда говорили о политических делах. Он высказывал очень левые и совершенно неинтересные мысли, – Бессо грустно думал, что Альберт ничего в политике не понимает. Иногда говорили и о литературе. Альберт восхищался Толстым:

– Ах, какой замечательный, полезный писатель! И какой хороший человек! Жаль, что не любит науку и не получил математического образования. Впрочем, я тоже мало понимаю математику.

– Это неожиданная новость. Что же ты тогда понимаешь?

– Может быть, и ничего, – соглашался Эйнштейн. – Какой я математик? Я и таблицу умножения помню плохо. Ни одной гимназической задачи я никогда не мог решить. В школе я считался тупым и отсталым мальчиком.

Бессо умилялся его скромности. Ему казалось, что Альберт гений, хотя и смешной чудак. Другие знакомые не считали Эйнштейна гением. Знали, что экзамена в Политехниче-

скую школу он не выдержал: удивил экзаменаторов своими математическими познаниями, но ничего не знал в ботанике, в зоологии, почти не владел иностранными языками. Ему предложено было сначала пройти курс в швейцарской коммунальной школе, где преподавание было предназначено для детей. Ничем особенно не выделялся он позднее и в Политехникуме, и после окончания курса. Более способным к физике иностранцем считался Фридрих Адлер (будущий убийца графа Штюка). Позднее оба были кандидатами на университетскую кафедру по физике, и ее предложили Адлеру, а не Эйнштейну. Несмотря на доброту и благодушие Альберта, некоторые товарищи его не любили, не выносили его шуточек и называли его циником, – как будто менее всего подходило к нему это слово. Искренне его любил, по-видимому, только Бессо. Он, собственно, первый и оценил теорию относительности. Но, при своем латинском уме, все же не очень увлекался «тевтонскими глубинами». По забавному стечению обстоятельств Эйнштейн очень долго, уже будучи мировой знаменитостью, считался воплощением немецкого духа в науке. Его поклонник, тоже знаменитый физик Вин, по политическим взглядам немецкий националист, говорил лорду Рутерфорду, что по-настоящему понять Эйнштейна может только германский ученый. Рутерфорд поднимал брови не столько обиженно, сколько изумленно: «Is that so?» Никак не думал, что в физике есть вещи, которых он понять не может. Очень скоро после этого, при Гитлере и даже раньше, Эйнштейн был объявлен воплощением антинемецкого духа.

И, наконец, пришла эта тетрадь в светло-коричневой обложке, десятая тетрадь «*Annalen der Physik*», за 1905 год, перешедшая в историю науки, вероятно, навсегда или на очень долгое время. Там на третьем месте в оглавлении значилось: «*Zur Aerodynamik bewegter Körper*», von A. Einstein³⁶. Он очень обрадовался и даже позвал Милеву. Та тоже обрадовалась: может быть, из ее болвана и выйдет какой-нибудь толк? Вечером, как всегда, пришел Бессо, узнал новость и обнял своего друга:

– Это я тебе предсказывал? Теперь о твоей работе говорит весь мир!

Работа была им тотчас прочтена вслух, и он делал вид, будто все понял. Растрогался еще и оттого, что в конце Альберт выразил «благодарность» своему другу М. Бессо. Прочитав слова: «*Wir wollen diese Vermutung (deren Inhalt im folgenden Prinzip der Relativität genannt werden wird) zur Voraussetzung erheben*»³⁷, он многозначительно поднял палец. В этот день были выпиты две бутылки пива, а после них Альберт что-то играл на скрипке, – от волнения еще хуже, чем обычно.

На следующий день он принес в Патентное бюро тетрадь в светло-коричневой обложке. Товарищи корректно его поздравили, хотя и не без некоторого недоумения: «Лучше бы этот юный, одетый как нищий иностранец больше занимался патентами». Он зарабатывал свой хлеб добросовестно, но в самом деле интересовался патентами очень мало. Больше в бюро о работе не говорили. Вопреки предсказанию Бессо, не говорил о ней и «весь мир».

Однако через некоторое время пришло письмо из редакции: секретарь – тоже с некоторым скрытым недоумением – сообщал ему, что его работой чрезвычайно заинтересовались три знаменитости: Анри Пуанкаре, Ван’т Гофф и Гендрик Лорентц. Спрашивали: кто такой этот А. Эйнштейн? где преподает?

Он был очень доволен. Тщеславия у него никогда не было ни малейшего; в этом отношении он был редчайшим исключением среди людей. Но честолюбие было, хотя и честолюбивые мысли тревожили его не часто: просто для них у него никогда не было времени; он всегда думал; когда думал о физике и математике, очень мало людей в мире могло с ним

³⁶ «К проблеме аэродинамики движущихся тел». А. Эйнштейн (нем.).

³⁷ «Мы хотим это предположение (содержание которого станет в последующем называться принципом относительности) сделать исходной посылкой» (нем.).

сравниться по глубине и своеобразию; когда писал о другом, особенно о политике, было совестно слушать; так это было банально. Был он редким примером ограниченной гениальности.

Свою работу он прочел раза два еще в печатном виде, хотя знал ее почти наизусть, и отчасти в связи с ней, отчасти как будто и без связи, ему приходили мысли странные, уж совсем необыкновенные. Иногда в разговорах чуть дразнил ими своего друга. Тот иногда сердился, – был очень нервным человеком. Его звали Микеланджело, и это имя вечно давало повод для шуток, тоже его раздражавших. Порою Эйнштейн изумлял его разными своими, еще смутными идеями, которые могли изумить не одного Бессо.

– Что такое в геометрии «пи»? – спрашивал Эйнштейн как будто не своего друга, а самого себя. – Знает каждый школьник, а это совсем не так просто.

– Не понимаю, зачем считать сложными самые простые вещи, – отвечал Бессо, настаиваясь при новых «тевтонских глубинах». – «Пи» это отношение окружности к диаметру: три запятая, один, четыре, один, пять, девять... Я в гимназии заучил это число до пятнадцатого знака.

– Напрасно терял время. «Пи» не есть постоянная величина.

– «Пи» не есть постоянная величина? Чего только вы, немцы, не измышляете!

– Это очень просто, но объяснять долго, и я не умею. Или возьми понятие времени. Мы им и в науке и в жизни пользуемся постоянно. Но ведь время может сжиматься и расширяться.

– Может сжиматься и расширяться? Время?

– Ну, да. Вообще надо переменить все, чему учат в гимназиях и университетах. Механика Ньютона неверна, и закон сохранения материи Лавуазье тоже неверен. Они оба ошибались.

– Ньютон и Лавуазье ошибались? – спрашивал Бессо уже с раздражением. Как он ни любил своего друга, все же находил несколько странным, что этот молодой человек опровергает Ньютона и Лавуазье. – Они ошибались, а ты не ошибаешься?

– Они были великие, гениальные люди. Разумеется, я ни в какое сравнение с ними не могу идти, но это так. Они упростили мир и многого не приняли во внимание. Их понятие о массе было слишком простое. Скоро можно будет, кстати, превращать массу в энергию.

– Да мы это, слава Богу, давно знали и без тебя. Если сжечь вот этот стол, то тепло можно превратить в работу, например в электрический ток.

– Я имею в виду совершенно другое. Я имею в виду атом, – говорил Эйнштейн со вздохом.

– Вильгельм Оствальд вообще отрицает существование атомов.

– Он чужак. Атом такая же реальность, как этот стол.

– И много энергии ты надеешься из него извлечь?

– Очень много. Страшно много. Так много, что можно будет переделать жизнь на земле. Можно будет благодетельствовать человечество, мы все станем богачами.

– Это было бы, конечно, очень кстати. У тебя верно нет сейчас и ста франков?

– Кажется, Милева говорила, что осталось двадцать пять. Но это так: через сорок или пятьдесят лет не будет предела богатству человечества. Все будут свободно размышлять и радоваться друг другу.

– Это, конечно, возможно. Только вот что, дорогой мой, ты совершенно уверен, что ты в своем уме? Извини меня, я дружески спрашиваю. Неужели Пуанкаре, король ученых, одобряет всю твою... все твои мысли.

– Я ему в подметки не гожусь, но я не думаю, чтобы он мог одобрять *все*. Да я еще почти ничего и не сказал.

– Пожалуйста, смотри за собой: как бы ты с сжимающимся временем не попал в...

V

Дмитрий Анатольевич просыпался, без будильника, всегда ровно в семь. Ему полагалось перед ванной проделывать гимнастические упражнения, но он их проделывал довольно редко и жаловался жене на непреодолимую лень. Татьяна Михайловна знала, что он работает целый день, не видела большой пользы в гимнастике и была недовольна предписаниями врача мужу. Врач требовал, чтобы Ласточкин ел возможно меньше. Она понимала, что требование разумно, но знала, что Митя очень любит есть, и за обедом все его угощала. «Ты ведешь меня прямо к кондрашке!» – говорил весело Дмитрий Анатольевич. – «Помилуй, какая кондрашка в твои годы! И от мяса не полнеют. Право, возьми еще ростбифа. Кажется, он сегодня очень хорош, именно такой, какой ты любишь». Ласточкин, хотя и с угрызеньями совести, соглашался: он и сам не верил, что у него может быть апоплексический удар.

В свое время он составил себе «расписание». На большом листе бумаги выписал сверху горизонтально дни недели, сбоку вертикально часы дня и отметил, что должен делать каждый день в такой-то час. Было указано даже время для чтения новых книг. Расписание было подробное. Он показал его жене, но та отнеслась к затее ласково-иронически:

– Если б я не знала, что ты очень умен, Митя, я подумала бы, что в тебе есть и некоторая ограниченность. Разве можно жить по расписанию? – сказала она. – Да никогда всего и включить нельзя.

Татьяна Михайловна имела на мужа такое влияние, что он скоро бросил бумагу в корзину. Однако старался и без расписания вносить в свою жизнь возможно больше порядка и точности; так, аккуратно записывал все свои доходы и главные расходы; никаких заседаний никогда не пропускал и на них не опаздывал; настаивал, чтобы завтрак и обед подавались в точно определенное время.

В этот июньский солнечный день, ровно в восемь часов утра он уже не в халате, а в прекрасном, тщательно выглаженном сером костюме, с такими же по цвету галстуком и носками, вышел в столовую и с удовлетворением окинул взглядом накрытый белоснежной скатертью стол. Калача и масла на столе не было, но врач разрешил икру, и Татьяна Михайловна ежедневно ее покупала у Елисеева «свежей полочки, прямо из Астрахани». Уже был соединен со штепселем небольшой серебряный электрический самовар – не принятая в Москве новинка. Дмитрий Анатольевич любил все новое и находил странным, что самовары остались такие же, какие были чуть не при Петре Великом; пора бы, где можно, освобождать прислугу от лишнего труда.

Не любил он только домов новой московской стройки, и лет пять тому назад, когда стал много зарабатывать, снял в старом доме поместительную квартиру с большими высокими комнатами, с толстыми стенами, с голландскими печами; произвел в ней капитальный ремонт, устроил вторую ванную, для жены. Татьяна Михайловна была в восторге. Она проводила в горячей воде часа полтора в день. Об этом уже Дмитрий Анатольевич говорил ей: «Чрезвычайно вредно, ты просто себя губишь!», и она тоже этому не верила. «Собственная ванна – это единственная роскошь, которая действительно доставила мне радость!» – сказала она мужу и тотчас поправилась, заметив огорчение на его лице: «Ну, не единственная, конечно, но самая главная». На стене был шкафчик красного дерева; поставили туда борную кислоту, бертолетовую соль, новейшие лекарства против головной боли, антипирин, фенацетин. Эта домашняя аптека увеличивала уютность их благоустроенной жизни: есть на случай и борная кислота.

В парадных и в других комнатах тоже все было очень хорошо. Старую мебель, оставшуюся от времени бедности, снесли на чердак: Дмитрий Анатольевич предлагал раздарить ее знакомым из богемы, но Татьяна Михайловна не согласилась: с этой мебелью было свя-

зано прошлое. Как ни счастлива она была теперь, пожалуй, еще лучше было прежде, когда они молодоженами покупали за дешевку шкапы, столы, стулья. Чуть было не прослезилась, когда на чердак относили маленький письменный стол Дмитрия Анатольевича, купленный когда-то за девять рублей у Сухаревой башни: помнила и лицо, и фамилию старьевщика, помнила, какая была в тот день погода, как Митя был доволен покупкой.

В доме не было ни старинного серебра, ни золоченой через огонь бронзы, ни мореного дуба, – Дмитрий Анатольевич даже не знал, что это собственно такое. Он не очень любил бар, очень не любил людей, прикидывавшихся барами, и старательно избегал в устройстве квартиры того, что могло бы казаться «аристократическими претензиями». Но все было хорошее, прочное, удобное. «У нас стиль культурных, сознательных парвеню», – говорила, смеясь, Татьяна Михайловна. С «аристократической претензией» случайно вышла лишь вторая гостиная: необычная, круглая, затянутая атласом. Нина просила, чтобы ей разрешили устроить эту комнату по ее плану: «Будет как в Мальмезоне у Жозефины, но ведь Жозефина не была природной королевой, и Мальмезон это не Версаль и не Трианон, успокойся, Митенька. Просто у нее был хороший вкус. И не беда, что никто теперь атласом стен не затягивает, ведь уж если на то пошло, то и круглых комнат почти ни у кого нет, и это не посягает на твой модерн, на твои электрические штучки», – весело говорила она брату. Дмитрий Анатольевич выписывал разные новые приборы: любил и умел их устанавливать, разбирать, чинить. В далекой, ненужной комнате он даже устроил себе механическую мастерскую, но уже с год ее гостям не показывал: его пишущая машинка не подвигалась. Все в доме сверкало чистотой и, несмотря на размеры комнат, вся квартира была уютной. Она была создана на заработки Ласточкина, это особенно умиляло его жену. Говорила, что чувствует себя дома «как за каменной стеной», – «точно тебе в других местах грозит какая-то опасность», – недоумевала Нина.

На электрическом приборе поджаривались тосты. В герметически закрывавшейся коробке был чай. Приказчик сообщил Ласточкину, что той же самой смесью чаев всегда пользовались китайские богдыханы, – Татьяна Михайловна дразнила мужа этим чаем, и его самого называла богдыханом. Лежала на столе и утренняя почта. Ласточкины получали московскую и петербургскую газеты, а также те четыре толстых журнала, которые читали все образованные люди в России. Получались и «сверхъестественные издания», как их называла Татьяна Михайловна. Они выписывали «Орловский Вестник», потому что Дмитрий Анатольевич был родом из Орла, «Харьковскую Речь», так как его жена родилась в Харькове, «Фигаро», чтобы «следить за Парижем», международный финансово-экономический журнал, – полезно просматривать, – и уж совершенно ни для чего не нужные «Известия Московской Городской Думы» и «Земскую Неделю». Второй год выписывали также «Правду». Этот ежемесячный журнал «ставил себе задачей быть неизменным выразителем интересов рабочего класса и проводником той его идеологии, которая во всех странах была ему всегда надежным компасом и служила залогом побед». Ласточкин подписался потому, что попросил Максим Горький:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.